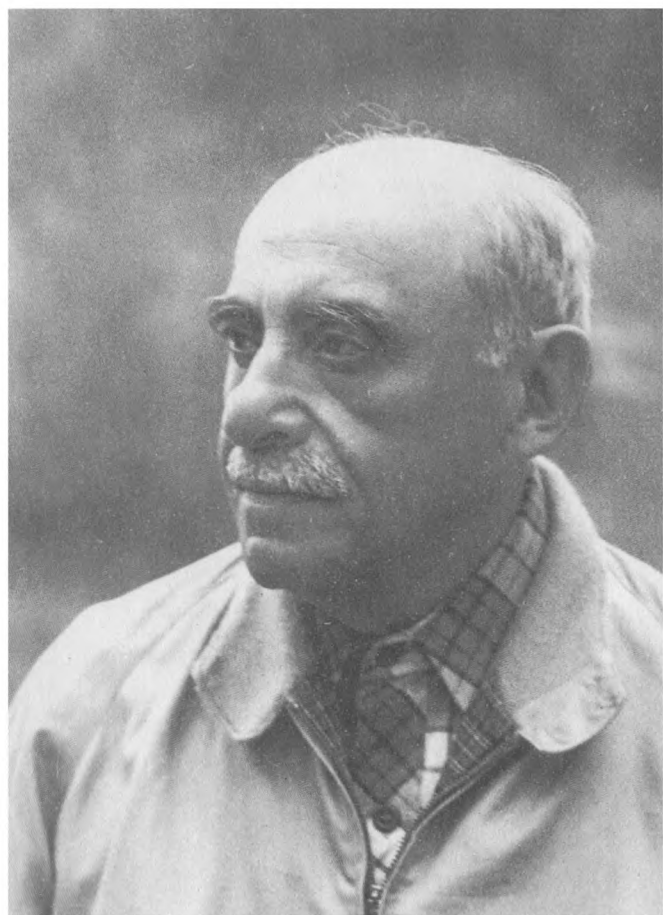


СЕМЕН
ЛИПКИН
ПИСЬМЕНА



СЕМЕН
ЛИПКИН

ПИСЬМЕНА

*СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ*



МОСКВА
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА •
1991

ББК 84Р7
Л61

Вступительная статья
Станислава Рассадина

Оформление художника
Давида Шимилиса

Л $\frac{4702010202-033}{028(01)-91}$ 83-91
ISBN 5-280-01686-1

© Вступительная статья. Рассадин Ст. Б., 1991 г.

ЧЕЛОВЕК, НАЗЫВАЮЩИЙ ВСЕ ПО ИМЕНИ

Среди записей Валерия Брюсова есть такая — забавная:

«NN спросил меня однажды:

— В. Я., что значит «вопинсоманий»?

— Как? что?

— Что значит «вопинсоманий»?

— Откуда вы взяли это слово?

— Из ваших стихов.

— Что вы говорите? В моих стихах нет ничего подобного.

Оказалось, что в первом издании «Urbi et orbi» в стихотворении «Лесная дева» есть опечатка...

Дыша в бреду огнем вопинсоманий.

...До сих пор,— сокрушается Брюсов,— я, со стыдом и горем, вспоминаю эту опечатку. Неужели меня считали таким «декадентом», который способен сочинять какие-то безобразные «вопинсомания»?»

Выходит, что — да, считали, но дело не только в репутации поэта; дело и в послушности читателя, который всего себя передоверил своему кумиру: и собственный вкус, и здравый смысл, растворясь без осадка.

Молодой Семен Липкин когда-то, совсем напротив, выступил непонятливо-непокорным читателем обожаемого им Мандельштама.

Он вспоминает, что озадачился, прочитавши о супруге Одиссея: «...Не Елена, другая,— как долго она вышивала?» Но ведь штука в том, рассудил он, что у Гомера Пенелопа не вышивает, а ткет, тайком распуская сотканное,— можно ли без следа распустить вышивку?

«Мандельштам рассердился, губы у него затряслись:

— Он не только глух, но глуп,— крикнул он Надежде Яковлевне.

Я эту историю,— продолжает Липкин,— рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: «В ваших словах был резон. Он не хотел исправить из упрямства».

Но так ли это, думаю я теперь? Поэтика Мандельштама жидилась на тогда мне неизвестных, да и сейчас не всегда мне ясных основаниях».

Став менее наивной и подчеркнуто деликатной («мне... мне...»), «непонятливость», а можно и резче сказать — отчужденность, утвер-

дилась. Оставшись нежно любимым поэтом, Мандельштам, особенно поздний, остался для Липкина и олицетворением той поэтики, которая ему самому противопоказана решительно. Понятно, не как читателю — как стихотворцу.

Широта культурных привязанностей, естественная протечность мастера перевода вкупе с той особенностью стихов Липкина, что религия (вернее сказать, религии), ее понятия и символы уж здесь-то не сводятся к обиходным метафорам и тем более к модному антуражу, а, стало быть, в силу этого предполагают иррациональность,— все это порою даже мешает понять, до какой степени Липкину чужды «вопинсомания» всякого, даже гениального рода и ранга...

Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,

По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем печам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям,—

Я шел. И грозен и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газовен
В неопалимой купине.

(«Моисей»)

Вот то, что кажется мне наиболее характерным у Липкина, наиболее «липкинским» — по лексике, по интонации, по их, я бы сказал, *отчетливости*,— хотя, конечно, как всякий поэт, пишущий давно и написавший немало, он достаточно многообразен.

В этой отчетливости, противостоящей любой импрессионистичности,— а если б я не боялся задеть поэта словом, примелькавшимся в вульгарном политическом лексиконе, то, пожалуй, сказал бы «в однозначности»,— запечатлено совершенно определенное духовное усилие. Стремление не только почувствовать мир, эмоционально его обжить, но — все в нем назвать поименно. Поверить, а может быть, испытать истинность чувственного опыта вмешательством интеллекта, к чему поэты, так дорожащие непосредственностью, обычно относятся не без опаски (хрестоматийное «...Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата»). С этой точки зрения поэзия Липкина вызывающе умна. Умна опасно.

Слово «опасно» может показаться лишним — ведь говорим как-никак о том роде искусства, которое по изначальной своей природе есть искусство называния:

Работа была для Адама трудна:
Явлениям и тварям давал имена.

Сквозь темные листья просеялся день,
Подумал Адам и сказал: — Это тень.

Услышал он леса воинственный гнев.
Подумал Адам и сказал: — Это лев.

(«Имена»)

И так далее. Это из старых стихов Липкина, где, между прочим, поразительны и характерны для него (о чем чуть позже) дата и место их сочинения: 1943, Сталинград...

Но то, что по видимости так просто дается Адаму в стихотворении-притче, для самого поэта может быть мучительно трудно:

Я сию на ступеньках
Деревянного дома,
Между мною и смертью —
Пустячок, идиома.

Пустячок, идиома —
То ли тень водоема,
То ли давняя дрема,
То ли память погрома.

(«Я сию на ступеньках...»)

«То ли... то ли...» — нет, значит, не поддается «пустячок» определению, не дается; на то, впрочем, и идиома, то, что не переводится — в данном случае на язык внятного смысла.

Потому ли, что речь о смерти? Ведь и кудесник метафор Олеша как-то говорил молодому другу, что, кажется, все на свете было подвластно его умению определять, но вот подступает смерть, и: «Понимаешь, Мишка, я не могу ее назвать!»

Да и в том, давнишнем, «сталинградском» стихотворении было в финале:

...Всеобщая ночь приближалась к садам.
«Вот смерть», — не сказал, а подумал Адам.

И только подумал, едва произнес,
Над Авелем Каин топор свой занес.

(«Имена»)

И все-таки лирик, сосредоточенный на своей судьбе, делает, ну, хоть пытается делать то, от чего, казалось, предостерег автор притчи. Хочет перевести идиому, расшифровать ее, развинтить, сделать доступной мозгу и языку:

В этом странном понятии
Сочетаются травы,
И летающей братьи
Золотые октавы,

Белый камень безликий
Трансформаторной будки
Там, где кровь земляники
Потемнела за сутки,

И беды с тишиною
Шепоток за стеною,
Между смертью и мною,
Между смертью и мною.

(«Я сижу на ступеньках...»)

Нет! Не перевел. Не назвал. Не вышло. И в этом — особая, индивидуальная, характеризующая его драма поэта Липкина.

Тут дело не в «проклятии ремесла», не во вздохе Блока, который могли бы разделить многие поэты: «...Я стихотворец, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка». И даже не в том, что любое слово коснеет перед смертью. Вернее, не только в этом. Все это общая драма — и человека, и его искусства. Тут все равны и похожи. Но в давнем стихотворении про Адама были строки, которые должен был написать именно Липкин — то предостережение, что высказывает опрометчивому супругу Ева: «Зачем это нужно, — вздыхает жена, — явленьям и тварям давать имена? Мне страшно, когда именуют предмет!» Несомненно, страшно и Липкину. В общем-то он совершает то, что считает невозможным и даже чреватым бедою; имею в виду даже не подробности биографии, не то, что он из тех, кому приходилось и вправду драматически расплачиваться за свободное слово. Нет. Сама его поэтика, *даже она*, повторяю, отчетливая, все норовящая договорить если не до конца, то до доступного предела, лишь подчеркивает, углубляет трагизм жизни, не очень-то поддающийся гармонизации:

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплавав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших баракон.

Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»

(«Зола»)

Неопалимая купина, символ уж никак не трагический, у Липкина, вспомним, сопоставлена, даже соединена с пламенем газовой, отчего сравнение его, пламени, с нею, с купиной, делает образ страшным в особенности: коли так, то и газовни, что ли, неистощимы? А в стихотворении «Зола» само чудо воскресения, возрождения, восстания из пепла, обретения «мысли, облика и речи» — делает ли оно возродившееся существо счастливым? Может, даже напротив, ибо сознание навсегда поражено происшедшей трагедией. Оно от

страдания неизлечимо — и словно бы не желает, не допускает возможности излечения...

Я бы не слишком доверял иным из оптимистически-искренних признаний Липкина; не самой их искренности, нет. «В сердце — вечная рана, а земля нам желанна», — сказано будет в стихах, посвященных Армении, ее горю, ее одолению горя, и, конечно, строк, нередко очень хороших, о желанности и красоте жизни Липкина немало. Однако «вечная рана» для него самого эмоционально перебарывает «желанность».

Тут нет и следа надрыва, истощности — в том-то и дело. Тут почти неизменная сдержанность, как раз и дающая возможность доискиваться отчетливого выражения самой мучительной мысли; тут мера, тут гармония (в эстетическом смысле, в том, скажу для ясности, в каком она была свойственна не только воплощению гармоничности, Пушкину, но и его антиподу, обостренно трагическому аналитику Баратынскому). Трагизм, трагедийная память, «вечная рана» — это способ поэтического существования Липкина. Для него — естественный.

Среди его стихотворений есть, правда, такое, персонаж которого неколебимо и неопровержимо оптимистичен — вопреки всему, даже беспощадно обокравшему его времени: «Столетия, как стадо, шли мимо него, но он замечать не хотел их упрямо, когда облака обступали его, он думал, что это развалины храма». Однако этот оптимист — камень.

То, что вполне удастся камню, поэту — не удастся. Что делать, Липкин — не из мечтателей, каковые умеют творить «вторую реальность», прекрасно преображающую очертания первой (в чем тоже истоки драмы: не удастся, но ведь порою так человечески хочется), тем более — не из утешителей. И чем настырнее будут нас уговаривать в «Военной песне» радоваться долгожданной победе, тому, что «в лагере пусто. Печи остыли» (печи крематория, разумеется), будут повторять: «Думать не надо. Плакать нельзя... Мы победили. Плакать нельзя», тем очевиднее, что не плакать, не страдать невозможно, что, напротив того, перестать страдать — значит перестать быть человеком. «Не надо... нельзя» — эти заклинания от избыточности страдания, они если и удерживают его в неких границах (вот она, липкинская форма сдержанности), то лишь затем, чтоб отчетливей ощутить и пережить реальное:

В полураскрытом чреве вагона —
Детское тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя.

(«Военная песня»)

Победа — даже победа! — не застит горя, а обнажает его. Хотя почему «даже»? Именно в наступившей паузе, в тишине смогла, нашла наконец время истинно ужаснуться душа...

Кстати, что до границ, затем и существующих, дабы дать определенность — земельной ли территории или какому-нибудь явлению, то они не излишни и в данном случае, в попытке определить своеобразие поэта Семена Липкина. И, скажем, стихи, которые я сейчас процитирую, словно бы уместаются между двумя пограничными вехами. Их собственным умиротворяющим финалом, справедливо утверждающим целостность человеческого бытия, неразрывность всех наших разновозрастных «я»: «А во мне, со мной мои чужие, я живу, пока они со мной», — и, с другой стороны, ассоциацией, от которой трудно отвязаться. Знаменитым стихотворением Ходасевича, его самобезжалостным «Перед зеркалом»: «Я, я, я. Что за дикое слово? Неужели вон тот — это я?»

«Неужели?..» Липкин словно бы говорит в точности то же самое или, по крайней мере, очень похожее. «Я ли после двух больниц шагаю мокрою, извилистой тропой, на ходу бессвязное слагаю, самому себе теперь чужой? Это я ли, пятигодовалый?.. Я ли дрался под водою в споре с драчуном таким же, как и я?.. Я ли смерти, может быть, навстречу шел в степной ставропольской ночи?..» — но, полагаю, к обеим вехам он всего лишь приближается. Отчасти — обманно.

Что говорить, все мы так или иначе продолжаем жить в своем прошлом и своим прошлым, и наша память, телесная и духовная, оставит нас только со смертью или, не приведи Бог, с безумием, — но это именно «мы», «наша», «нас», это та общность, которая говорит о связности бытия поэта, но еще не о том, чем он, поэт, отличим от нас, чем выделен из нашей толпы и толщи.

Однако здесь и не яростный ужас разрыва между «мною» тогдашним и «мною» нынешним, тот ужас, что охватил в «европейской ночи» Ходасевича, почти с омерзением вглядывающегося в свое зеркальное отражение: «Разве мама любила такого — желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея?» У Липкина нет разрыва, у него, наоборот, постоянство, продолжение — однако постоянство и продолжение прежде всего, повторяюсь, неутихающей боли, «вечной раны». И сам историзм мышления, и самочувствования, весьма свойственный этому поэту, сама духовная преемственность, которой Липкин дорожит едва ли не превыше всего, как бы взрывоопасны. Тоже начинены бедою.

Вдумаемся. Вслушаемся:

Степь шумит, приближаясь к ночлегу,
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу
Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье?
Это римские речи звучат.
Сотворили-то их каторжане,
А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблестал Капитолий,
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий
Ломовую гоняет латынь.

(«Молдавский язык»)

«Ломовая латынь молдаван...» Строчка, связанная-перевязанная этими «л» и «м» в почти что осязаемый звукоряд, задерживает, заворачивает — зачем? Не затем ли, чтоб интуитивно выделить пока еще полупонятную парадоксальность: дескать, классическая латынь — и вдруг нате вам, ломовая? А за этим — уже четко памятный парадокс самой истории, то, что вечный город загонял своих блатарей, как Овидия, в Приднестровье и что сегодня (нет, позавчера: стихи мечены 1952 годом) отчего-то, зачем-то встревожило нынешнего поэта. Отчего?

В этом, одном из сильнейших стихотворений Липкина история древних даков, как бы всего лишь эпически вспомнившаяся в «степи молдаванской», под впечатлением романских речей тамошних мужиков, родит неожиданную — однако и предопределенную — аналогию. Автора словно ведет по кривой, шибает в сторону — но не в чужую, в свою — и ведом он ассоциацией не исторической, не этнической, не языковой. Болевой.

Точно так же...

Хотя — какое там «точно»! Разве что ежели говорить о точности и неуклонности, с какими поэт упрямо сворачивает на то, что болит в нем, уставая и не переставая болеть.

Точно так же блатная музыка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За окурочек от чьих-то щедрот
Представителям каторжной банды
Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде
В резервацыи воров и блядей.

И, воскресив бегло узнаваемую тень Мандельштама, Липкин задаст вопрос, где мука незнания, а может, и мука предчувствия: «Что мы знаем, поющие в бездне, о грядущем своем далеке?»

Правда, и тут за вопросом поспешит обнадеживающий ответ: «Будут изданы речи и песни на когда-то блатном языке», — но способен ли он и на сей раз перебороть обнаженную эмоциональность вопроса-вопля: «Что мы знаем, поющие в бездне?..» Много ль увидишь, провидишь из бездны, если провидчество, по Липкину, не

далось самому Иоганну Вольфгангу Гете? Имею в виду другое липкинское стихотворение, где сочинитель «Фауста» и веймарский министр получит словно бы укоризну от нашего современника за безвинную вину близорукости: «Дамы внимают советнику Гете, оптики он объясняет основы, не замечая в тускнеющем свете, что уже камеры смерти готовы...» *Не замечая*, не видя, как под Веймаром строится Бухенвальд и запускают машину уничтожения.

По своей лирической воле лишив немецкого гения дара трагического провидения и создав ему как бы комплекс трагической вины (в самом деле, трудно ли допустить, что совестливый поэт не ужаснулся б, не обвинил себя, узнав о злодействах своих потомков-читателей, — во всяком случае, трудно ли это допустить нашему поэту, соотечественнику Достоевского и Некрасова?), словом, показав утрату этого дара как вину и беду, Липкин вдруг может наградить, возвысить им того, с кем только что был чрезмерно, подчеркнуто — если не жесток, то жёсток.

В поэме «Литературное воспоминание» о Багрицком (уж который-то узнаваем вполне портретно) будет сказано немало справедливого; жёсткость, чрезмерность, подчеркнутость, о которых я говорю, не в искажении истины, а в том, что истина понята, полагаю, отчасти задним умом, сегодняшней мудростью. Но в финале поэмы знаменитый спутник юного на ту пору автора, беспечно заведший его в «бесовскую берлогу», в жилище самого Ежова, да и вообще забавлявшийся игрой с дьяволом и подыгрыванием победившей власти, внезапно утрачивает свою циническую беспечность — и:

...Сердечных не любивший излияний,
Насмешник и остряк, как все южане,

Нагнулся, обхватил меня рукой,
От слез и снега мокрою щекой

К моей щеке неловко прикоснулся.
Иль Божий свет опять на миг проснулся

В незрячем? Иль буран грядущих лет
Провидит оком голубя поэт?

Багрицкий, выслушивающий полуграмотные поучения Ежова («Хозяин-вурдалак сказал, вульгарно ставя ударенье: «Иметь было́ неплохо точку зренья...») и лишь по выходе из его берлоги осененный, как догадывается Липкин, ощущением своей причастности к Богу, а не к Сатане, — зрелище, как ни крути, безрадостное. Впрочем, соприкосновение власти и художника, где последний являет разного рода грехи, слабости, заблуждения (включая самое необаятельное из заблуждений, надежду обрести с неправой властью союз, даже, стыдно сказать, подслужиться к ней), может принять и вовсе гротескное обличье. И все же это — не союз, а противостояние. Конечно, до той поры, пока художник не перестанет быть художником. Каким-никаким, а провидцем.

В повести «Декада» есть эпизод, замечательно выразительный именно в этом смысле: в Кремле идет высочайший прием в честь

одной из «братских» литератур; происходит то, что для автора и воплощено в метафорическом понятии *декады*. То есть не просто показушного десятидневного смотра успехов национальной культуры, но вообще небезуспешной попытки тирании как бы благожелательно, а на деле имперски высокомерно приспособить к себе эту культуру. Превратить ее в нечто «национальное по форме, социалистическое по содержанию». Приручить барской лаской и припугнуть опасностью уничтожения,— что явлено между прочим и примером одного из персонажей повести, поэта Хакима Азадаева.

«Ни разу Чека не тронула Хакима Азадаева, и вместе с тем он жил в постоянном страхе перед властью. Этот страх странно слился с чувством благодарности к власти, простившей его и хорошо кормившей его...» — штука сказать, бывшего муллу и, по-нашему выражаясь, сепаратиста. Вот только — что ж странного в этом слиянии? Так и должно быть перед непроницаемым лицом абсолютной власти, не связанной никаким моральным и юридическим законом. Здесь благодарность тем сильней, чем сильнее страх: еще бы, *такая* власть — и не убивает, даже кормит! Ее и не полюбить-то нельзя — самым искренним позывом смертельно дрожащего тела, во всяком случае, трудно противостоять своей извращенной любви к ее, власти, неотразимому обаянию. Обаянию абсолютного воплощения зла, Воланда, тайну которого (имею в виду обаяния), кажется, толком не объяснил никто из писавших о Булгакове. Обаянию абсолютного злодея Сталина, которое тоже еще подлежит исследованию и которое Липкин слегка приоткрыл и полуобъяснил в упомянутом эпизоде. Вот он:

«— Я поднимаю тост,— начал не очень грамотно вождь,— за гушанскую интеллигенцию. Ни для кого не являются секретом заслуги гушанской интеллигенции в прошлом. ...Именно в ту далекую пору сложились знаменитые во всем мире гушанские сказания...

И вдруг... случилось нечто невероятное: Хаким Азадаев прервал речь вождя. Он встал и крикнул:

— ...Бирав, бирав! (Браво, браво!) Литературоведения умерла! Да здравствует наша отец товарищ Сталин! Нам не нужна свет ламп с потолка, у нас есть Сталин, он наш свет!

Звериные лапы с удесятеренной свирепостью сжали кисти писателя, быстрым рывком прикрепили его к столу, но произошло такое, чего синие (то есть охранники.— *Ст. Р.*) не могли предвидеть. Сталин встал...» — Кончаю цитировать, ограничиваюсь пересказом; встав, прошествовал с рюмочкой к столу Азадаева, спросил, как фамилия — не псевдоним, а настоящая, и так заключил свой ошеломляющий трюк: «Джугашвили, будем знакомы».

Они тут оба выглядят, как шуты. Один, Хаким Азадаев, как бы жалок и раболепен, другой раскрепощенно, а значит, повторю, обаятельно подыгрывает всеочевидному шуту. Но на деле-то — наоборот! Старый поэт поглощен одним: тем, что вождь, сам того не подозревая, сокрушил подхалимов-невежд, объявлявших древнее, фольклорное, драгоценное слово реакционным феодальным отжитком. «Сам Сталин, движущий семь планет мира, Каусар — райский источник мудрости и знания, утвердил, освятил своим нерушимым, подобным Каабе словом важность гушанских сказаний, их право на перво-

родство». А благодарность, вылившаяся в нечаянно шутовскую и осознанно льстивую форму, да Бог с ней, что все это в сравнение с подобным благодеянием?

А Сталин? Что значит его поступок?

Липкин, пересказавший здесь то, чему оказался когда-то свидетелем (только на месте Азадаева был Садриддин Айни), предполагает и то, и это, в частности, будто «Сталин играл, желая всех озадачить загадочным поступком, тем более загадочным, что никакого намека в нем не таилось». Однако в любом случае это шутовская игра тем, что для партнера — жизнь, дороже жизни; идет в гигантском масштабе извращение истинного, ломка неподдающегося, но, увы, ломающегося, а в поголовной ломке случается ведь и так, что кому-то обламывается долгожданный кусок; среди тотальной несправедливости нет-нет да блеснет для кого-то его, частная справедливость; зло ненароком или от скуки (как Воланд) сотворит добро. То самое, каким еще долго будут козырять поклонники злодея.

Конечно, в «Декаде» изображено наиболее крупным планом нечто не в пример страшнее этого, что бы там ни было, комического эпизода: насилие над целым народом. Но инстинкт деспотии не может удовлетвориться, только лишь убивая или ссылая, ее бесчеловечная разрушительность тотальна, она хищно орудует и в масштабах всей нации, и в глубинах единой человеческой души. Этот, так сказать, универсализм насилия с болью и ненавистью, не застилающей зрака, исследован в цикле поэм «Вождь и племя», а противостояние ему со стороны человека и человечности... Но тут вовремя ловишь себя на стереотипно-оптимистическом желании немедленно вскричать: а противостояние восславлено и утверждено! Однако...

Повторюсь, настаивая на своей мысли. Да, разумеется, вера Липкина в духовные возможности человека велика. И неуступчива. Но она не торопит его с утешительным ответом на бесконечные трагические вопросы, и, больше того, там, где он в этом смысле наиболее *беспомощен* (выражусь именно так!), он в особенности силен художественно. Как в стихотворении «Зола». Или в «Молдавском языке». Или в поэме «Техник-интендант».

Странная это поэма. И что она вообще такое? Стихи? Безусловно. Но, возможно, одновременно и проза?.. На этот вопрос я столь же уверенно не отвечу, но хотя бы предположу: да, отчасти и проза. И не только потому, что поэма (в основе которой личный фронтальный опыт, выход из окружения, и судьба еще одного сосланного народа, калмыков) насыщена бытовыми реалиями, наверное, не меньше, чем «Конармия» Бабеля. И даже не потому, что герои ее изъясняются... Вот, впрочем, пример:

— Здесь, в городу, одна работа:
Укладка дыма, трамбовка воздуха.
Ты в командировке? Само собой! —
Отвечает он за тебя и садится рядом.
Слова из его изуродованного рта
Выскакивают, как пули, с присвистом резким.

— Был я на парткомиссии фронта —
Восстановили. Честь и совесть эпохи.
Думаешь, просто? С главным добился беседы,
Он меня сразу вспомнил, по Первой Конной.
«Сам, говорит, ожидал, что башку мне снимут
Или отправят в последний рейд, как тебя,
Чистить подковы медведям.
Сталин великий, бывало, поклечет меня и Оку,—
Учти, маршала и генерал-полковника,—
Мы перед ним вдвоем поем и танцуем:
Хоть не артисты, а все же верные люди,
Но в голове, понимаешь, другие танцы...
Баба есть? Ничего, заведешь медицинскую.
Ты поезжай, получишь майора и полк!»
Ехать-то надо, но пару деньков отдохну:
Личной жизни совершенно не имею.
Слушай, дай мне пятьсот рублей!

Пожалуй, это еще менее «поэтично», чем ритмизованная речь тех же бабелевских конармейцев, и, уж во всяком случае, тут нет привычной уступки, которую делает, входя в состав поэзии, непричесанная житейская проза. Но странность и межеумочность «Техника-интенданта» еще не в этом. В чем же?

Покаянно сознавая сугубую ненаучность того, что скажу, все-таки говорю, решаюсь: «Техник-интендант» — это словно бы проза, не вполне решившаяся стать поэзией, то есть концентрацией чувства и мысли. Это что-то жанрово-неопределенное. Недосказанное. И оттого — мудрое.

Ведь мудрость — не просто большой ум. Мудрость — это, вероятно, ум, осознавший, что не беспределен. Что ему далеко не все подвластно. И если так, то «Техник-интендант», где автор как будто хочет, однако не в силах сосредоточиться на одной из многих трагических тем, где он антиэгоцентрически, беззащитно открыт сразу всем катастрофам, ветрам, вопросам,— словом, странная эта поэма, быть может, оттого и является (по крайней мере, для меня) вершиной липкинского творчества, что здесь «человек, называющий все по имени», терпит особенно явственное поражение. То самое, что, повторяя за Пастернаком, нельзя, невозможно, не нужно отличать от победы. Потому что в таких поражениях, в такой бедственной чуткости к беде и к боли и состоит победа художника. Победа человечности.

...Сознаю, да и знал наперед: выпрямляю весьма непростой характер весьма значительного поэта. Но делаю это затем, чтоб назвать по имени его, как мне кажется, наиглавнейшее отличие. Незаживающую боль, неумолкающую совесть; скажу даже: и нежелание, чтобы они зажили и умолкли, своего рода упорство в сбережении боли. Так что формула несомненного липкинского историзма, пожалуй что, такова: *напоминать и предупреждать*. Это его связь с прошлым и с будущим.

В этом свете строгая приверженность Липкина той поэтике, которую вряд ли стоит именовать поэтикой XIX века, но о которой можно сказать, что она окружена аурой этого столетия и его поэзии (тут,

правда, можно присовокупить и XVIII век, ибо логический рационализм — не то, чего, в отличие от «вопинсоманий», чужается Липкин), эта приверженность говорит не просто об устойчивости вкуса и уж вовсе не о его инертности. Такая подчеркнутая традиционность — своего рода форма духовного участия в современности. Притом — из труднейших форм...

«Наросло на перьях мясо, меньше скрытого тепла, изменилась у Пегаса геометрия крыла. Но...» Угадали: дальше по знакомому обыкновению добра будет объяснено, что «пышна, как прежде, грива, и остер, как прежде, взгляд...» Справедливость оценки будет уравновешена, но можно ли не заметить, что Пегас быллой, не отяжелевший за счет избыточной плоти и дышавший *скрытым* теплом, поэту ближе, роднее?

Сожалеющая зоркость, с какой подмечено изменение «геометрии крыла» и, возможно, высоты полета, всеочевидна. Не ворча против перемен в поэзии и поэтике (отсюда мирно-мудрое «но»), для себя Липкин их не хочет. Надеется сохранить старую «геометрию». Наивно? Но отнюдь не «глуповатая» липкинская поэзия наивностью не обладает — что ей не в хвалу, не в хулу, только констатации ради. Безнадежно? Как знать... Вот что трудно — это уж без сомнения.

Неотъемлемая часть своеобразия Липкина, форма его современности вот в чем: да, очень трудно не меняться — конечно, не только, не столько в поэтике, сколько в строе души — в стремительно и порою страшно меняющемся мире. Трудно потому, что не меняющийся или старающийся не меняться, стало быть, неподатливый и неуступчивый, он-то испытывает наибольшее давление века.

И тем не менее...

Вспомним хоть стихи об Адаме, распределяющем имена; вспомним пометку вслед за последней строкой: «1943, Сталинград». Далековато от «фронтowej тематики», которой, впрочем, отдана своя дань, и в этом — Липкин. Постоянство того, что занимало и занимает его ум, как бы независимо от переживаемого момента (вдумаемся — какого!). С невеликой, но неизбежной степенью условности отчего бы и не допустить, что это стихотворение могло быть написано сороклетие спустя? Поэт, конечно, менялся, что неудивительно, — удивительно то, что изменился так мало. Тут и речи не может быть о таком перевале (или провале?), что существует, допустим, меж Заболоцким «Столбцов» и Заболоцким «Можжевельного куста» или «Лебеди в зоопарке»...

Во всем этом, включая то, с чего я начал свою статью, с «отчетливости», совместно и созидательно участвовали и неповторимый склад характера поэта, и эпоха, даже если ее участие состояло в противодействии этой, именно такой личности, вызывающем ответное противодействие. Я не оговорился, сказав: «созидательно». Вовсе не парадокс, что для поэта и такие отношения с его временем — сотрудничество, так или иначе формирующее его индивидуальность.

Пастернак писал о Николозе Бараташвили, — и пусть нас не смутит вторжение в наш разговор имен великих; общие законы поэзии этими именами и создаются, прочими же — проверяются и утверждаются:

«Счастливые эпохи с их верою в человека и восприимчивость потомства позволяют художникам высказать только главное, почти не касаясь побочного, в надежде на то, что воображение читателя само восполнит отсутствующие подробности. Отсюда некоторая неточность языка и плодovitость классиков, естественная при большой легкости их очень общих и отвлеченных задач».

Возможно, здесь оценки и выводы намеренно заострены — ради контраста с той частью цитаты, которая бесспорна, а для нас и важна:

«Художники-отщепенцы мрачной складки любят договариваться до конца. Они отчетливо доскональны из неверия в чужие силы. Отчетливость Лермонтова настойчива и высокомерна. Его детали покоряют нас сверхъестественно. В этих черточках мы узнаём то, что должны были бы доработать сами».

Заметим, не крохоборствуя, что применить буквально «мрачную складку» к предмету нашего разговора было бы очевидной чрезмерностью. «Высокомерие» тут и вообще ни при чем, хотя б потому, что, напротив, до отчаянности, до муки велика жажда быть услышанным: «Неужели мы пропали, я и ты, мой бедный стих, неужели мы попали в комбинат глухонемых?»

Но «отчетливая доскональность» — вот она налицо. Как и причина ее, «неверие в чужие силы», если даже оно и проистекает из того обстоятельства личной судьбы, что «чужих сил» поэту долго, почти всю его жизнь не предоставлялось.

А если бы предоставили? Если б эпоха одарила поэта ласковейшей из своих улыбок? «Что мы знаем?..» Впрочем, тут кое-что знаем все-таки. Уверенно полагаю, что весьма нелегкая судьба Липкина, в которой сравнительно недавние его «диссидентские» беды (разрыв с Союзом писателей, изгнание со странички печати и т. п.) были далеко не первыми, — эта судьба была предопределена. Та внутренняя неприкасаемая свобода, без коей Липкин не видел в своей поэтической работе смысла, то его нежелание зависеть в работе от обстоятельств в самом деле были не ко времени и не по времени. Его — на десятилетия затянувшееся — официальное непризнание как поэта (не переводчика) было закономерным. *Заслуженным*.

И все же: «Я один из немногих счастливцев», — напишет Липкин в стихотворении, считая не беды свои, а везенья (не угодил в лагерь, не погиб на войне...), да и автору этого предисловия сказал однажды, что ощущает себя именно таковым. Мол, не имея возможности печатать *свое*, душевно отдался переводам восточной классики, народных эпических сказаний; несчастье переплавил в удачу, в наслаждение (добавлю то, чего и нельзя не добавить: став, с моей точки зрения, в великий ряд мастеров российского перевода, начатый именами Гнедича и Жуковского, продолженный Заболоцким, Лозинским, Любимовым, Пастернаком). Но даже и это — удача, так сказать, относительно частная в сравнении с тем, что судьба не деформировала характер поэта Липкина. Она его формировала, что явилось, заметим, еще одним подтверждением победоносности искусства, не отменяемой даже личными катастрофами его творцов.

Тем, что рукописи — горят. Ибо (берем крайний, страшный пример) — кто победитель в непримиримой схватке, Сталин или Мандельштам? Тот, кто исполински высился над подданными, или комочек трепещущей плоти, который легко было испугать и еще легче уничтожить?

Прежде сам вопрос показался бы нелепым, безумным, диким, — но счастье наше, что таким он кажется и сейчас. Только ответ другой. Уже окончательный.

Станислав РАССАДИН



СТИХОТВОРЕНИЯ

АПРЕЛЬ

А здесь апрель. Забылась роща в плаче.
На вербе выступил пушок цыплячий.

Опять земля являет облик свой,
Покрытый прошлогоднею листвою.

Какая тишь, какое захоlustье,
Как странно выгнулось речное устье,

Пришли купаться ясени сюда,
До пояса доходит им вода.

Там, в рощице, то синим, то зеленым
Сукном одет затон, и над затоном

Топырит пальцы юная ольха.
И, словно созданная для греха,

Выходит на террасу щебетунья,
Цветущая полячка, хохотунья,

Чья бровь дугой, и ямки на щеках,
И множество браслетов на руках,

И необдуманная прелесть глаз
Уже не раз с ума сводили нас...

Бубни стихи, живи светлей и проще!
Журчит река. Недвижен воздух рощи.

Всей грудью обновленный дышит прах.
Но все это в меня вселяет страх.

Я вижу: на тепличное стекло
Цветов дыханье смрадное легло.

Мне кажется: из-за речных коряг
Невидимый вот-вот привстанет враг.

И черный грач, как будто без причины,
То тут, то там садится на вершины,

И вниз летит, и что-то мне кричит,
И вверх как бы в отчаянье летит,

Затем, что слушать здесь никто не хочет,
Когда он горе близкое пророчит.

Так иногда, увидев тайный свет,
Беспомощный, но истинный поэт

О зле грядущем нам напоминает,
Но тусклых слов никто не понимает.

А вот еще ольха. Мне в этот миг
Понятен хруст ее ветвей сухих:

Она своей седьмой весны боится!
Она слепым предчувствием томится:

Страшит ее весенних дней набег,
Ей милым стал больной, унылый снег,

И дерева младенческое горе
Моей душой овладевает вскоре.

И даже та, чьи ямки на щеках,
И множество браслетов на руках,

И необдуманная прелесть глаз
Уже не раз с ума сводили нас,

Та, что сейчас своей красотой летучей
Нас обожгла,— она больна падучей,

И знаю: ночью будет нас пугать
Улыбкой неестественной.

1937

ОТКРЫТКА

Я получил открытку, на которой
Художник темный написал случайно
Чудесный дом, и мне за каждой шторой
Какая-то мерцала тайна.

Извозчики, каких уж нет на свете,
Кареты выстроили — цуг за цугом,
А сами собрались в одной карете,
Видать, смеялись друг над другом.

И мне представилась тогда за домом
Вся улица, все улицы, весь город.
Он показался мне таким знакомым,—
Не в нем ли знал я жар и холод?

О царь всевидящий — незрячий случай!
Понятно мне: в том городе и ныне
Я проживаю, но другой, но лучший,
Но слепо верящий в святыни.

В том городе моя душа прекрасна,
Не менее души прекрасно тело,
Они живут между собой согласны,
И между ними нет раздела.

И если здесь несбыточны и хрупки
Беспомощного разума создания,—
Они там превращаются в поступки,
Мои сокрытые мечтанья.

Там знают лишь один удел завидный —
Пьянящей жертвенности пить напиток.
Там ни к чему умельца дар постыдный,
И мне туда не шлют открыток.

1937

* * *

Есть прелесть горькая в моей судьбе:
Сидеть с тобой, тоскуя по тебе.

Касаться рук и догадаться вдруг,
Что жажду я твоих коснуться рук,

И губы целовать, и тосковать
По тем губам, что сладко целовать.

1937

СЧАСТЬЕ

Хорошо мне торчать в номерах бобылем,
По казачьим станицам бродить,
Называть молодое вино чихирем,
Равнодушно торговок бранить.

Ах, у скряги земли столько спрятано мест,
Но к сокровищам ключ я нашел.
Это просто совсем: если жить надоест,—
Взял под мышку портфель — и пошел.

Из аула в аул я шатаюсь, но так
Забывают дорогу назад.
Там арабскими кличками кличут собак,
Над могилами жерди стоят.

Это знак, что великий смельчак погребен,
Мне ж, по правде сказать, наплевать,
Лишь бы воздух был чист, и глубок небосклон,
И вокруг ни души не видать.

Вот уже за спиною мечеть и погост,
И долина блестит вдалеке.
Полумесяцем там перекинулся мост,
В безымянной колеблясь реке.

Очевидно, река здесь недавно бежит,
Изменила недавно русло.
Там, где раньше бежала, там щебень лежит,
И камни чисты, как стекло.

Долго странствовать буду. Когда же назад
Я вернусь, не увижу реки:
Только россыпи щебня на солнце блестят,
Только иверни да кругляки!

Оскверню ли я землю хулой иль хвалой?
Постою, погляжу и пойду.
За скалой многоуглой, за каменной мглой
Безымянной рекой пропаду.

1938

* * *

В неверии, неволе, нелюбви,
В беседах о войне, дороговизне,
Как сладко лгать себе, что дни твои —
Еще не жизнь, а ожиданье жизни.

Кто скажет, как наступит новый день?
По-человечьи запоет ли птица,
Иль молнией расколота тень
Раздастся и грозою разразится?

Но той грозы жестоким голосам
Ты весело, всем сердцем отзовешься,
Ушам не веря и не зная сам,
Чему ты рад и почему смеешься.

1940

ЧАБАН

Чабан, коня поставив на приколе,
Заснул, не закрывая глаза карего.
Две-три кибитки в диком чистом поле.
Над полем небо, а на небе — марево.

Здесь рядом насыпь свежая с курганом,
С могилами бойцов — могилы схимников.
Здесь пахнет сразу и речным туманом,
И горьким кизяком из темных дымников.

Здесь медленные движутся верблюды,
Похожие на птиц глубокой древности,
И низкорослы, и широкогруды,
Здесь люди полны странной задушевности.

Здесь, кажется, нет края серой глине.
Пустыня. Суховой поднялся надолго,
И побелели корешки полыни,
И пылью красная покрылась таволга.

Пустынна степь, но за степною гранью
Есть мир другой, есть новая вселенная!
Вставай, беги, скачи к ее сверканью!
Заснул чабан, заснула степь забвенная.

Не так ли дремлешь ты, душа людская,
Сухая, черствая... Но вспыхнет зарево,
И ты сверкнешь — прекрасная, другая,
Таинственная, как степное марево.

1940

ПЕРЕД МАЕМ

Был царствия войны тяжелый год.
В тот год весна к нам дважды приходила,
А в третий раз она пришла в обход,

Затем, что всюду стражу находила
Безжалостной зимы. Был долог путь,
И, поднимаясь медленно, светила

Дрожали в сером небе, точно ртуть.
Тельца и Близнецов мерцали знаки,
Но в свете дня была густая муть,

Как бы в глазах взбесившейся собаки.
Три раза реки прятались во льду.
Три раза полдни прятались во мраке.

1941

В ЭКИПАЖЕ

Ветерок обдувает листву,
Зеленеет, робея, трава.
Мирно спят поросята в хлеву.
Парни рубят и колют дрова.
Над хозяйством большим экипажа
Рвется дождика тонкая пряжа.

Словно блудные дети земли,
У причалов стоят корабли.
Тихо. Изредка склянки пробьют,
Огородницы песню споют.
К сердцу берег прижал молчаливо
Потемневшую воду залива.

Край полуночный робко цветет,
Да и где ему смелости взять?
Только речь о себе заведет
И не смеет себя досказать.
Вот и песня замолкла сквозь слезы.
Низко-низко гудят бомбовозы.

Женский голос, красивый, грудной,
В тишине продолжает скорбеть.
Кто сказал, будто птице одной
Суждено так бессмысленно петь,
Так бессмысленно, так заунывно,
Так таинственно, так безотзывно.

1941

РЕВОЛЮЦИЯ

У самого моря она родилась.
Ей волны о будущем пели.
Как в сказке росла, то грозя, то смеясь,
В гранитной своей колыбели.

А выросла — стала загадкой живой.
Сжимая мятежное древко,
Сегодня — святая и кличет на бой,
А завтра — гуляющая девка.

Цвела, как весна, колдовская краса.
Казнила, гнала, продавала.
Но вот заглянула колдунья в глаза —
И ненависть к ней миновала.

Морщинами годы легли на челе,
И стоят иные столетий.
И мы расплодился на бедной земле,
Ее незаконные дети.

И пусть мы не смеем ее понимать,—
Ее осуждать мы не можем.
За грешную нашу беспутную мать
Мы головы с радостью сложим.

1941

В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Чтобы в радости прожить,
Надобно немного:
Смело в юности грешить,
Твердо веря в Бога,

Встретить зрелые года,
Милой обладая,
В эмпиреи иногда
Гордо улетаю,

К старости прийти своей
С крепкими зубами,
Гладить внуков и детей
Властными руками.

Что мне преданность бойца,
Доблесть полководца!
К вам, смиренные сердца,
Мысль моя несется.

Пуле дать себя скосить,—
В этом нет геройства.
Вот геройство: погасить
Пламя беспокойства,

Затоптать свои следы
И свое деянье,
Потерять своей звезды
Раннее сиянье,

Но в потемках помнить свет
Той звезды забвенной,—
О, трудней геройства нет,
Нет во всей вселенной!

Так я понял в тридцать лет,
В дни грозы военной.

1941

НА СВЕЖЕМ КОРЧЕВЬЕ

Равнодушие к печатным страницам
И вражда к рупорам.
Сколько дней маршируем по бабьим станицам!
Жадный смех по ночам и тоска по утрам.

День проходит за днем, как в тумане.
Немец в небе гудит.
Так до самой Тамани, до самой Тамани,
А земля, как назло, неустанно родит.

Я впервые почувствовал муку
Краснозвездных крестьян.
Близко-близко хлеба, протяни только руку,
Но колосья бесплотны как сон, как дурман.

Веет зной в запыленные лики,
Костенеет язык.
Не томится один лишь пастух полудикий,
В шароварах цветных узкоглазый калмык.

Дремлет в роще, на свежем корчевье.
Мысли? Мысли мертвы.
Что чужбина ему? Ведь земля — для кочевья,
Всюду родина, было б немного травы.

1942

КАЗАЧКА

Сверкает крыша школы, как наждак.
Облиты месяцем арбузы в травке.
Подобно самолету при заправке,
Дрожит большими крыльями ветряк.

Шитье отбросив (на столе — булавки),
То в зеркало глядит, то в полумрак.
Далёко, под Воронежем, казак.
Убит или в больнице на поправке?

Давно нет писем. Комиссар, чудак,
Бормочет что-то о плохой доставке.
Он пристаёт — и неумело так.

Вошла свекровь. Ее глаза — пиявки.
О, помоги же, месяц в небесах,
Любить, забыться, изойти в слезах!

1942

СТРАННИКИ

Горе нам, так жили мы в неволе!

С рыбой мы сравнялись по здоровью,
С дохлой рыбой в обмелевшем Ниле.
Кровью мы рыдали, черной кровью,
Черной кровью воду отравили.

Горе нам, так жили мы в Египте!

Из воды, отравленной слезами,
Появился, названный Мойсеем,
Человек с железными глазами.
Был он львом, и голубем, и змеем.

Вот в пустыне мы блуждаем сорок
Лет. И вот небесный свод задымлен
Сорок лет. Но даже тот, кто зорок,
Не глядит на землю филистимлян.

Ибо идучи путем пустынным,
Научились мы другим желаньям,
Львиным рыкам, шепотам змеиным,
Голубиным жарким воркованьям.

Научились вольности беспечной,
Дикому теплу верблюжьей шеи...
Но уже встают во тьме конечной
Будущие башни Иудеи.

Горе нам, не будет больше странствий!

1942

БЕСЕДА

— Сладок был ее голос и нежен был смех.
Не она ли была мой губительный грех?

— Эта нежная сладость ей Мною дана,
Не она твой губительный грех, не она.

— Я желанием призрачной славы пылал,
И не в том ли мой грех, что я славы желал?

— Сам в тебе Я желание славы зажег,
Этим пламенем чистым пылает пророк.

— Я всегда золотой суетой дорожил,
И не в том ли мой грех, что в довольстве я жил?

— Ты всегда золотую любил суету,
Не ее твоим страшным грехом Я сочту.

— Я словами играл и творил я слова,
И не в том ли повинна моя голова?

— Не слова ты творил, а себя ты творил,
Это Я каждым словом твоим говорил.

— Я и верил в Тебя, и не верил в Тебя,
И не в том ли я грешен, свой дух погубя?

— Уходя от Меня, ты ко Мне приходил,
И теряя Меня, ты Меня находил.

— Был я чашей грехов, и не вспомнить мне всех.
В чем же страшный мой грех, мой губительный грех?

— Видел ты, как сияньем прикинулся мрак,
Но во тьме различал ты божественный знак.

Видел ты, как прикинулся правдой обман,
Почему же проник в твою душу дурман?

Пусть войной не пошел ты на черное зло,
Почему же в твой разум оно заползло?

Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой,
Говори, почему ты лукавишь с собой?

Почему же всей правды, скажи, почему,
Ты не выскажешь даже себе самому?

Не откроешь себе то, что скрыл ото всех?
Вот он, страшный твой грех, твой губительный грех!

— Но когда же, о Боже, его искуплю?

— В час, когда Я с тобою в беседу вступлю.

1942

ПЕРВОЕ ЗАБВЕНЬЕ

Благословенны битва
И неправые труды,
Затоптанные жнитва
И кровавые следы,

В побитых рощах птицы
И пахучая смола,
Смятенные станицы
И летучая зола,

И эскадрон, случайно
Обескровленный вчера,
И стук в окошко тайный
И условленный с утра,

И те, под влагой страстной,
Окаянные глаза,
Язычницы прекрасной
Покаянная слеза,

И тополя волнение
В расцветающем саду,
И первое забвенье
В исцеляющем бреду.

1943

МЕТАМОРФОЗЫ

Прошел спокойно день вчерашний...
Наступит некое число:
Там, где железо рылось в пашне,
Там воду загребет весло.

Забьется рыба в листьях дуба.
Коснутся гребни волн звезды.
Безвинного и душегуба
Сравнивает равенство воды.

К недостижимой вершине
Ладья причалит в тишине.
Тогда в единственном мужчине,
Тогда в единственной жене

Проснутся голоса Приказа.
Отступит море. Встанет берег.
Начало нового рассказа.
Дни первых тягот, первых нег.

Посмотрят оба удивленно
На воды, свод небес, и вот
Для Пирры и Девкалиона
Пережитое оживет.

Что было страшным, близким, кровным
Окажется всего бледней.
Очарованьем баснословным
Существенность недавних дней

Предстанет в речи задушевной.
Как мало нужно для того,
Чтоб день растленный, тлен вседневный
Одушевило волшебство!

Где радостью засветит горе,
Где храмом вознесется пыль,
И как цвета меняет море,
Меняться будет наша быль.

Но вслушайся в их жаркий лепет:
Он правды полн, он правды полн!
Той правды вещей, яркий трепет,
Как трепет света в гребнях волн.

И минет время. Прибылая
Вода столетий упадет.
В своих руинах жизнь былая
На свежих отмелях взойдет.

Найдет в развалинах историк
Обрывки допотопных книг,
И станет беден, станет горек
Воспоминания язык.

Заметы мудрости тогдашней,
Предметы утвари домашней,
Обломки надмогильных фраз
О нас расскажут без прикрас.

С самим собою лицемерный,
Проклявший рай, забывший ад,
Наш век безверный, суеверный,
Наш век — вертеп и вертоград —

Своим позором ежедневным
Твой разум ранит тяжело.
И ты, смотрящий взором гневным
На окружающее зло,

Ты нашу боль всем сердцем примешь,
Ты нашу боль переживешь.
Ты мнимо правый меч поднимешь.
Отступит правда. Встанет ложь.

1943

ИМЕНА

Жестокого неба достигли сады,
И звезды горели в листве, как плоды.

Баюкая Еву, дивился Адам
Земным, незнакомым, невзрачным садам.

Когда же на небе плоды отцвели
И Ева увидела утро земли,

Узнал он, что заспаны щеки ее,
Что морщится лоб невысокий ее,

Улыбка вины умягчила уста,
Коса золотая не очень густа,

Не так уже круглая шея нежна,
И мужу милей показалась жена.

А мальчики тоже проснулись в тени.
Родительский рост перегнали они.

Проснулись, умылись водой ключевой,
Той горней и дольней водой кочевой,

Смеясь, восхищались, что влага свежа,
Умчались, друг друга за плечи держа.

Адам растянулся в душистой траве.
Творилась работа в его голове.

А Ева у ивы над быстрым ключом
Стояла, мечтала бог знает о чем.

Работа была для Адама трудна:
Явленьям и тварям давал имена.

Сквозь темные листья просеялся день.
Подумал Адам и сказал: — Это тень.

Услышал он леса воинственный гнев.
Подумал Адам и сказал: — Это лев.

Не глядя, глядела жена в небосклон.
Подумал Адам и сказал: — Это сон.

Стал звучным и трепетным голос ветвей.
Подумал Адам и сказал: — Соловей.

Незримой стопой придавилась вода,—
И ветер был назван впервые тогда.

А братьев дорога все дальше вела.
Вот место, где буря недавно была.

Расколотый камень пред ними возник,
Под камнем томился безгласный тростник.

Но скважину Авель продул в тростнике,
И тот на печальном запел языке,

А Каин из камня топор смастерил,
О камень его лезвие заострил.

Мы братьев покинем, к Адаму пойдем.
Он занят все тем же тяжелым трудом.

— Зачем это нужно,— вздыхает жена,—
Явленьям и тварям давать имена?

Мне страшно, когда именуют предмет! —
Адам ничего не промолвил в ответ:

Он важно за солнечным шаром следил.
А шар за вершины дерев заходил,

Краснея, как кровь, пламенея, как жар,
Как будто вобрал в себя солнечный шар

Все красное мира, всю ярость земли,—
И скрылся. И медленно зрея вдали,

Всеобщая ночь приближалась к садам.
«Вот смерть»,— не сказал, а подумал Адам.

И только подумал, едва произнес,
Над Авелем Каин топор свой занес.

1943

РУИНЫ

Как тайны бытия счастливая разгадка,
Руины города печальные стоят.
Ковыльные листы в парадных шелестят,
Оттуда холодом и трупом пахнет сладко.

Над изваянием святого беспорядка
Застыл неведомым сиянием закат.
Но вот из-за угла, где рос когда-то сад,
Выходит человек. В руках его тетрадка.

Не видно жизни здесь. Как вечность, длится миг.
Куда же он спешит? Откуда он явился?
Не так ли, думаю, наш праотец возник?

Не ходом естества, не чарой волшебства,—
Внезапно вспыхнувшим понятием Божества
От плоти хаоса без боли отделился.

1943

ВЕЧЕР

О вечер волжских посадов,
О горный берег и дольний,
Мучных и картофельных складов
Ослепшие колокольни!

Языческий хмель заплачек,
Субботные пыльные пляски,
Худых, высоких рыбачек
Бесстыжие, грустные ласки.

Плавучие цехи завода,
Далекая ругань, а рядом —
Вот эти огни парохода,
Подобные чистым Плеядам.

1943

ВОЛЯ

Кони, золотисто-рыжие, одномастные кони,
Никогда я не думал, что столько на свете коней!
Племя мирных коров, кочевая бычья держава
Шириною в сутки езды, длиною в сутки езды.

Овцы, курдючные, жирные овцы, овцы-цигейки,
Множество с глазами разумного горя глупых овец.
Впрямь они глупые! Услышат в нашей бричке шуршанье,
Думают — это ведро, думают — это вода,
Окровавлёнными мордочками тычутся в бричку.
Ярость робких животных — это ужасней всего.

Пятый день мы бежим от врага безводною степью
Мимо жалобных ржаний умирающих жеребят,
Мимо еще неумелых бляений ягнят-сироток,
Мимо давно недоенных, мимо безумных коров.

Иногда с арбы сердобольная спрыгнет казачка,
Воспаленное вымя тронет шершавой рукой,
И молоко прольется на соленую серую глину,
Долго не впитываясь...

Пересохли губы мои, немытое тело ноет.
Правда, враг позади. Но, может быть, враг впереди?
Я потерял свою часть. Но что за беда? Я счастлив
Этим единственным счастьем, возможным на нашей
земле —
Волей, ленивой волей, разумением равнодушным
И беспредельным отчаяньем...

Никогда я не знал, что может, как море, шуметь ковыль,
Никогда я не знал, что на небе, как на буддийской иконе,
Солнечный круг и лунный круг одновременно горят.
Никогда я не знал, что прекрасно быть себялюбцем:
Брата, сестру, и жену, и детей, и мать позабыть.
Никогда я не знал, что прекрасно могущество степи:
Только одна белена, только одна лебеда,
Ни языка, ни отчества...

Может быть, в хутор Крапивин приеду я ввечеру.
Хорошо, если немцев там нет. А будут — черт с ними!
Там проживает моя знакомая, Таля-казачка.
Воду согреет. Вздыхая, мужнино выдаст белье.
Утром проснется раньше меня. Вздыхая, посмотрит
И, наглядевшись, пойдет к деревянному круглому дому.
Алые губы, вздрагивающие алые губы,
Алые губы, не раз мои целовавшие руки,
Алые губы, благодарно шептавшие мне: «Желанный»,
Будут иное шептать станичному атаману
И назовут мое жидовское отчество...
А! Не все ли равно мне — днем раньше погибнуть,
днем позже.
Даже порой мне кажется: жизнь я прожил давно,
А теперь только воля осталась, ленивая воля.

1943

ШТАБНАЯ СИМФОНИЯ

Лесных цветов счастливый
Утренний плач.
Уют неприхотливый
Брошенных дач.

Все прелести штабной картины,
Столы, столы...
Гул повторяют орудийный
Деревьев грубые стволы.

Владельцы этих зданий
Где-то в бегах,
В Сибири, в Туркестане,
В камских снегах.
Они здесь жили, как пришельцы,
Ушли в тылы,
А настоящие владельцы —
Деревьев грубые стволы.

Хотя б от них остался
Запах иль цвет!
Хотя бы вздох раздался
Чей-нибудь вслед!
Ушли, как ночь уходит в воду,
Как тени мглы,
И равнодушны к их уходу
Деревьев грубые стволы.

Здесь верить не умели,
Веря, страдать,
Смеяться в дни веселий,
В скорби рыдать,
Здесь ели много, пили много,
Боясь хулы.
Но кто ж хранил дыханье Бога?
Деревьев грубые стволы!

Отдел оперативный
Ходит волчком.
— Что делаешь, противный,
Люди кругом! —
Целует Верочка майора
Гасан-оглы.
Их тайну выболтают скоро
Деревьев грубые стволы.

И пусть мы негодуем,
Шутим, ворчим,
Но этим поцелуем,
Наглым, смешным,

Облагорожен гул горячий
И дух золы,
И эти брошенные дачи,
И эти грубые стволы.

1944

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

Войдем в поселок
Черный Рынок.
Угрюм и колок
Блеск песчинок.
Лег синий полог
На суглинок.

Войдем в поселок
Тот рыбачий,
И сух, и долог
День горячий.
Слова — как щелок,
Не иначе!

Бегут в ухабы
Жерди, клетки.
Разбиты, слабы,
Сохнут сети.
Худые бабы.
Злые дети.

Не вынес Каспий
Этой доли.
Отпрянул Каспий
К дикой воле.
Вдыхает Каспий
Запах соли.

Воскликнем, вторя
Пьяным трелям:
— О холод моря
По неделям,
О битва горя
С горьким хмелем!

О патефоны
Без пластинок,
О день твой сонный
Без новинок,
Изнеможенный
Черный Рынок!

Пришел сюда я
Поневоле,
Еще не зная
Крупной соли
Сухого края,
Чуждой боли.

Не вынес Каспий
Этой доли.
Седает Каспий
В диком поле.
Вдыхает Каспий
Запах воли.

1944

ГОРОДОК

Молодой городок.
Лебеда и песок
И уродливые дома.
Ни прохлады, ни цвета.
Суховейное лето.
Отвратительная зима.

Я тебя навещал,
Приезжать обещал,
Признаюсь, не очень любя.
Отчего же, угрюмый,
Ты вошел в мои думы
И забыть мне трудно тебя?

А какой в тебе прок —
Самому невдомек!
Не забыл тебя ради той —
Смуглолицей, учтивой,
Узкоглазой, красивой?
Пропади она с красотой!

Ради милых друзей?
Ради песни моей?
Чепуха, суета, обман!
Я друзей не взлелеял,
Ветер песню развеял,
Словно легкий, слабый дурман.

Ради трудных годов?
Ради чистых трудов?
Я не их на помощь зову.
Тут причина другая,
И, ее постигая,
Вижу: август зажег траву.

И один пешеход
Перед взором встает.
Он идет, не зная куда.
Невысокий, несмелый,
На траве обгорелой
Озирается иногда.

Справа — светлый простор.
Слева — серый бугор.
На бугре ликует базар.
Женский смех, разговоры
И веселые шпоры
Кривоногих, шумных мадьяр.

Ослабел он в пути,
А не смеет войти
В городок, где шпоры звенят,
Где его не забыли...
Побелевший от пыли,
Он пойдет назад, наугад.

Край родной, край родной,
В этой шири степной
Сохрани его, защити!
Чтоб чужого не встретил,
Чтоб и сам не заметил,
Как сумел он к своим дойти!

Как с надеждой к своим
Он пришел невредим,
Как в душе сберег навсегда

Городок нелюбимый,
Где суровые зимы,
Суховай, песок, лебеда.

1944

СОЛОВЬИ

Поговорим о бродягах
С горькой мечтой о корчме.
Птицы в мужицких сермягах
Свищут в зеленой тюрьме.

До смерти им надоели
Баловни глупой судьбы —
Эти сановные ели,
Эти тупые дубы.

Осточертела до боли
Листьев могучая цепь.
Хочется в чистое поле,
Хочется в нищую степь.

Хочется жизни — голодной,
Но хоть на несколько дней,
Хоть на минуту — свободной,
Хоть на мгновенье — своей.

В диком, огнистом тумане
Песню беспечную спеть
И в разноцветном жупане
В марево смерти влететь.

1944

КВАРТИРА

Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.

Юнец-ремесленник, грустя,
Терзает балалайку.
— Я не хочу,— кричит дитя,—

Колючую фуфайку! —
Прими их, муза моя, прими,
Будь за хозяйку.

Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.

Сосед за стенкой зол, как черт,
В тоске постель измята:
Живым вернулся Раппопорт
И все раппопортятя!

Прими его, муза, прими,
Как брата.

Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.

У Раппопортов прежний гам
И ругань в прежнем стиле,
И прежним молятся богам
Лукавство и бессилье.
Прими их, муза моя, прими,
Они ведь просили.

Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.

В четвертом — смех и патефон.
Чьи тайны там таятся?
Оно выходит на балкон
И все его боятся.
Прими его, муза моя, прими,
Не надо бояться.

В последней комнате темно,
Там негде повернуться,
Там смотрит женщина в окно
И хочет улыбнуться.

Не мучайся, муза, не мучай других,
Попробуй улыбнуться.

1944

Не тревожьтесь: вы только березы.
Что же льете вы терпкие слезы?
Ты, сосна, так и будешь сосною.
Что ж ты плачешь слезой смоляною?
Травы милые, лес подмосковный,
Неужели вы тоже виновны?

Только дачники, сладко балдея,
К счастью слабой душой тяготея,
Не хотят огорчиться слезою
И зовут эти слезы — росою.

И проходят, веселые, мимо,
Забывая, что эти росинки —
Горлом хлынувший плач Освенцима,
Бесприютные слезы Треблинки.

1945

СЧАСТЛИВЕЦ

Я мог бы валяться в ложбине степной,
Завейанный прахом, засыпанный солью,
Мертвец, озаренный последнею болью,
Последней улыбкой, последней мечтой.
Но вот — я живу. Я снова с тобой,
Я один из немногих счастливцев.

Я мог бы сгореть за кирпичной стеной
В какой-нибудь миром забытой Треблинке
И сделаться туком в бесплодном суглинке,
Иль смазочным маслом, иль просто золой.
Но вот — я живу. Я снова с тобой,
Я один из немногих счастливцев.

Я мог бы вернуться в свой город родной,
Где пахнут акации туго и пряно,
Где все незнакомо, и горько, и странно.
Я мог бы... Но я не вернулся домой.
Я только живу. Я снова с тобой,
Я один из немногих счастливцев.

1945

У ручья

От платформы, от шума, от грубых гудков паровоза
В получасе ходьбы,
В тайнике у ручья уцелела случайно береза
От всеобщей судьбы.

Оттого ли, что корни пустила в неведомый глазу
Небольшой островок,
Но дыхание горя еще не ложилось ни разу
На блестящий листок.

Каждый лист ее счастлив, зеленый, веселый, певучий,
Кое-где золотой,
Только ветви ее, только белые ветви плакучи
И шумят над водой.

От нее, от блаженной, на вас не повеет участием,
Ей недуг незнаком,
Только вся она светится полным, осмысленным счастьем,
Не отравленным злом.

Я, узнав, полюбил простодушное это величье,
Самобытный покой,
Этот сказочный свет и младенческое безразличие
К скучной скорби людской,
Этот взлет к небесам, этот рост белоствольный, могучий,
Чистоту, забытье...
Полюбил, а понять не сумел: отчего же плакучи
Ветви, ветви ее?

1946

ДОГОВОР

Если в воздухе пахло землею
Или рвался снаряд в вышине,
Договор между Богом и мною
Открывался мне в дымном огне.

И я шел нескончаемым адом,
Телом раб, но душой господин,
И хотя были тысячи рядом,
Я всегда оставался один.

1946

МОЮ

Тени заката сгустились в потемки.
Город родной превратился в обломки.

Все изменилось на нашей земле,
Резче морщины на Божьем челе,

Все изменилось на нашей планете,
Умерли сверстники, выросли дети,

Все изменилось и прахом пошло,
А не пошло, так быльем поросло!

Все изменило мечте и надежде,
Мы, только мы, все такие ж, как прежде:

Так же брожу у твоих берегов,
Так же моих ты не слышишь шагов.

1946

ТОТ ЖЕ ПРИЗНАК

На окраине нашей Европы,
Где широк и суров кругозор,
Где мелькают весной антилопы
В ковылях у заснувших озер,

Где на треснувшем глиняном блюде
Солонцовых просторов степных
Низкорослые молятся люди
Желтым куклам в лоскутьях цветных,

Где великое дикое поле
Плавно сходит к хвалынской воде,
Видел я байронической боли
Тот же признак, что виден везде.

Средь уродливых, грубых диковин,
В дымных стойбищах с их тишиной,
Так же страстен и так же духовен
Поиск воли и дали иной.

1947

МУЗЫКА ЗЕМЛИ

Я не люблю ни опер, ни симфоний,
Ни прочих композиторских созданий.
Так первого столетья христиане,
Узнав, что светит свет потусторонний,
Что Бог нерукотворен и всемирен, —
Бежали грубых капищ и кумирен.

Нет, мне любезна музыка иная:
В горах свое движенье начиная,
Сперва заплачка плещется речная,
Потом запевка зыблется лесная,
И тихо дума шелестит степная,
В песках, в стозвонном зное исчеза.

Живем, ее не слыша и не зная,
Но вдруг, в одну волшебную минуту,
В душе подняв спасительную смуту,
Нам эта песнь откроется земная.
Бежим за нею следом, чтоб навеки
Исчезнуть, словно высохшие реки.

1947

НА ТЯНЬ-ШАНЕ

Бьется бабочка в горле кумгана,
Спит на жердочке беркут седой,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.

Издаляка занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок невзначай.
Над горами — туман. За туманом —
Вы подумайте только — Китай!

В этот час появляются люди:
Коновод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.

День в пыли исчезает, как всадник,
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листья виноградник,
И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка,—
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

1948

ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

Эти горные краски заката
Над белой повязкой.
Этот маленький город, зажатый
В подковке кавказской.

Этот княжеский парк, освещенный
До самых нагорий.
Уцелевшие чудом колонны
В садах санаторий.

Этот облик, спокойный и жуткий,
Разрушенных зданий.
Этот смех, эти грубые шутки
Вечерних гуляний.

Листьев липы на плитах обкома
Подвижные пятна,—
Как все это понятно, знакомо
И невероятно.

Те же горные краски заката
Сверкали когда-то.
Падал, двигаясь, отсвет пожара
На площадь базара.

Вот ракета взвилась и упала
В районе вокзала.
Низкой пыли волна пробежала,
Арба провизжала.

И по улицам этим, прижатым
К кизиловым скатам,
Шел я шагом не то виноватым,
Не то вороватым.

Но в душе никого не боялся,
Над смертью смеялся,
И в душе моей был в те мгновенья
Восторг вдохновенья,

И такое предчувствие счастья,
Свобода такая,
Что душа разрывалась на части,
Ликуя, сгорая...

1948

ВЕЧЕР НА ЧЕГЕМЕ

Вот сидит пехотинец
На почетной скамейке в кунацкой.
Молодой кабардинец
Возвратился со службы солдатской.

Просяную лепешку
Он в густую приправу макает,
Обо всем понемножку
Он в семейном кругу вспоминает.

На дворе, у сапетки,
Мать готовит цыпленка в сметане.
Дом построили предки,—
Есть об этом немало преданий.

На стене, где кремневка —
Память битвы за вольность Кавказа,
Где желтеет циновка,
Что нужна старику для намаза,—

Карта, вроде плаката:
План столичного города Вены...
День дошел до заката,—
Не погас разговор откровенный,

Разговор задушевный,—
Из чужих здесь одни лишь соседи,
И Чегем многогневный
Принимает участие в беседе.

Он течет у порога,
Как сказителя-старца поэма.
Звуки властного рога
В этом резком теченье Чегема!

Равнодушный, бесслезный,
Чуждый скорби и чуждый веселья,
Вечер тихо и грозно,
Как хозяин, вступает в ущелье.

1948

САПОЖНИК

Писанье читает сапожник
В серебряных круглых очках.
А был он когда-то безбожник,
Служил в краснозвездных войсках.

Знакомый станичник, хорунжий,
Деникинец был им пленен.
За это геройство на Сунже
Буденным он был оценен.

Домой он вернулся с заслугой,
С отрезанной напрочь ногой.
На станции встречен супругой,
Поплыл он в простор золотой.

Душистое зыблилось жито,
Шумела земля во хмелю.
Листочек, росой промытый,
К сухому прилип костылю.

В такое бы время — на жатву,
Дневать, ночевать на току,
А взялся за шило и дратву —
Спасибо, старался в полку.

Стучит молоточек по коже,
Всю четверть столетья стучит,
Душа только, Боже мой, Боже,
Всю четверть столетья молчит.

Сквозь кашель и душный, и нудный,
Сквозь кашель всю ночь напролет,
Рассказывать скучно и трудно,
Замолкнет, едва лишь начнет.

Старуха ничем не утешит,
Смеется блудливым смешком
И жирные волосы чешет
Беззубым стальным гребешком.

Шуршит за страницей страница,
Лучина давно не нужна.
Давно рассветает станица,
Давно уже в поле жена.

Он вышел. Ногою босою
Почувствовал: дышит земля.
Листочек, промытый росой,
Пристал — и упал с костыля.

О если бы назло удушью
Всей грудью прохладу вдохнуть,
В свою же заглохшую душу
Хотя бы на миг заглянуть.

О если бы, пусть задыхаясь,
Сказать этой ранней порой,
Что в жизни прекрасен лишь хаос,
И в нем-то и ясность и строй.

1948

РАННЕЕ ЛЕТО

Мы оставили хутор Веселый,
Потеряли печать при погрузке,
А туда уж вошли новоселы,
И команда велась не по-русски.

Мы поставили столик под вишней,
Застучал «ремингтон» запыленный...
— Ну, сегодня помог нам всевышний,—
Усмехнувшись, сказал батальонный.

А инструктор Никита Иваныч
Все смотрел, сдвинув светлые брови,
На блестящий, как лезвие, Маныч
И еще не остывший от крови.

Как поймет он, покинутый верой,
Что страшнее: потеря печати,
Или рокот воды красно-серой,
Или эхо немецких проклятий?

Столько нажито горечи за ночь,
Что ж сулит ему холод рассвета,
И воинственно блещущий Маныч,
И цветение раннего лета?

Искривил он язвительно губы,
Светит взгляд разумением ясным...
Нет, черты эти вовсе не грубы,
Страх лицо его сделал прекрасным!

Ах, инструктор Никита Ромашко,
Если б дожил и видел ты это,—
Как мне душно, и жутко, и тяжело
В сладком воздухе раннего лета!

Я не слышу немецких орудий,
Чужеземной не слышу я речи,
Но грозят мне те самые люди,
Что отвергли закон человеческий.

Тупо жду рокового я срока,
Только дума одна неотвязна:
Страх свой должен я спрятать глубоко,
И улыбка моя безобразна.

1949

СТЕПНАЯ ПРИТЧА

Две недели я прожил у верблюдопаса.
Ел консервы, пока нам хватило запаса,

А потом перешел на болтушку мучную,
Но питаться, увы, приходилось вручную.

Нищета приводила меня в содроганье:
Ни куска полотна, только шкуры бараньи,

Ни стола, ни тарелки, ни нитки сученой,
Только черный чугунный казан закопченный.

Мой хозяин был старец, сухой и беззубый.
Мне внимая, сердечком он складывал губы

И выщипывал редкой бородки седины.
Пальцы были грязны, но изящны и длинны.

Он сказал мне с досадой, но с виду бесстрастно:
— Свысока на меня ты глядишь, а напрасно.

Я родился двенадцатым сыном зайсанга,
Я в Тибете бывал, доходил и до Ганга,

Если хочешь ты знать, то по тетке-меркитке
Из чингизовой мы приходим кибитки! —

Падежей избегая, чуждаясь глаголов,
Кое-как я спросил у потомка монголов:

— Отчего ж темнота, нищета и упадок? —
Он сказал: — То одна из нетрудных загадок.

Я отвечу тебе, как велит наш обычай,
Потускневшей в степи стародавнюю притчей.

Был однажды великий Чингиз на ловитве,
Взял с собой он не только прославленных в битве,

Были те, кто и в книжной премудрости быстры,
По теперешним званьям большие министры.

Соизволил спросить побеждавший мечом:
— Наслаждение жизни, по-вашему, в чем?

Поклонился властителю Бен Джугутдин,
Из кавказских евреев был тот господин.

Свежий, стройный, курчавый, в камзоле атласном,
Он промолвил своим языком сладкогласным:

— Наслаждение жизни — в познании жизни,
А познание жизни — в желании жизни.

— Хорошо ты поешь,— отвечал Темучин,—
Только пенье твое не для слуха мужчин.

Ты что скажешь,— спросил побеждавший
мечом,—
Наслаждение жизни, по-твоему, в чем?

Тут китаец оправил холеную косу
И ответил, как будто он рад был вопросу:

— Наслаждение жизни — в стремлении к смерти,
А в стремлении к смерти — презрение к смерти.

— Говоришь ты пустое! — воскликнул Чингиз.—
Ты что скажешь, бухарец? Омар, отзовись!

И ответил увидевший свет в Бухаре
Знатный бек,— был он в золоте и в серебре:

— Наслаждение жизни — в покое и неге,
В беспокойной любви и в суровом набеге,

В том, чтоб на руку взять синецветную птицу
И охотиться в снежных горах на лисицу.

Молвил властный: — И этих я слов не приму.
Видно, слово сказать надо мне самому.

Только тот, кто страны переходит рубеж,
Подавляя свободу, отпор и мятеж,

Только тот, кто к победе ведет ненасытных,
Заставляя стенать и вопить беззащитных,

Тот, кто рубит ребенка, и птицу, и древо,
Тот, кто любит беременным вспарывать чрево,

Кто еще не родившихся режет ножом,
Разрушает настойчивый труд грабежом,—

Ненавистный чужбине и страшный отчизне,
Только тот познает наслаждение жизни!

...Солнце медленно гасло над степью ковыльной.
Мой хозяин добавил с усмешкой бессильной:

— Вот какой был порядок властителю сладок,
Потому-то пришло его племя в упадок.

1949

КАВКАЗ ПОДО МНОЮ

Отселе я вижу потоков рождение...
Пушкин

У Маруси случилось большое несчастье:
Взяли мужа. В субботу повез он врача
И заехал к любовнице, пьяный отчасти.
В ту же ночь он поранил ее сгоряча:

С кабардинцем застал. Дали срок и угнали.
А Маруся жила с ним два года всего.
И полна она злобы, любви и печали,
Ненавидит его и жалеет его.

Камни тускло сбегают по ленте рекою,
И Маруся, в брезентовой куртке, в штанах,
Их ровняет беспомощной, сильной рукою,
И поток обрывается круто впотьмах.

Из окна у привода канатной дороги
Виден грейдерный путь, что над бездной повис.
В блеске солнца скользя, огибая отроги,
Вагонетки с породой спускаются вниз.

В облаках исчезая часа на четыре,
Возвращаются влажными: дождь на земле.
Здесь, под вечными льдами, в заоблачном мире,
Скалы нежатся в солнечном, ясном тепле.

Словно облако, мысль постепенно рождалась:
Здесь легко человека причислить к богам
Оттого, что под силу ему оказалось
Добывать из эльбрусского камня вольфрам.

Он сильнее становится с каждой попыткой,
Он взобрался недаром наверх по стволу!
...Вот Маруся вошла, освещая карбидкой
Транспортер, уплывающий в пыльную мглу.

Пусть моторы дробилки шумят на Эльбрусе,
Там, где горных орлов прекратился полет,—
Об одном говорят они тихой Марусе:
— Он вернется назад, он придет, он придет!

Пусть три тысячи двести над уровнем моря,
Пусть меня грузовик мимо бездны провез,
Все равно нахожусь я на уровне горя,
На божественном уровне горя и слез.

Потому-то могу я улыбкой утешной
На мгновение в душе отразиться больной,
Потому-то, и жалкий, и слабый, и грешный,
Я сильнее Кавказа, Кавказ подо мной.

1950

ТОПОЛЯ В ГУНИБЕ

Многоярусный, многодостойный,
Прежде яростный, ныне спокойный,
Поднимается к небу Гуниб.
Не сгорел. Не исчез. Не погиб.

Ничего, кроме камня и славы,
Не осталось от дней Шамиля.
Ничего. Лишь одни тополя
Сохранили свой отсвет кровавый.

Я слышал от людей: русский князь
В знак победы велел посадить их.
Высоко их семья поднялась,
Но молчат о суровых событиях.

На вершине гранитных громад
Ныне праздно зияют бойницы
Там виднеется зданье больницы,
Рядом школа, при ней интернат.

А на площади сонные парни
Ждут чего-то у входа в райком.
Пахнет мясом, вином, чесноком,
Кукурузным теплом из пекарни.

Что же смотрят на всё тополя
С выраженьем угрюмой обиды?
Мнится мне: то стрелки Шамиля,
То его боевые мюриды.

1950

УТРО

Плавню сходят к морю ступени,
По бокам их — изваянные вазы,
Посредине — белый виноградарь,
В руках его зеленые кисти.
Чуть пониже — глиняные дети
На концах бесформенных пальцев
Держат глобус (или мяч футбольный),
Еще ниже, вдоль берега, — рельсы,
И когда товарные вагоны,
Грубо грохоча, пробегают,
Между ними, в странных очертаньях,
Так волшебню волнуется море,
И в куске, на мгновенье окаймленном
Платформой, колесами, дымом,
Бесстрашными кажутся чайки.

Поднимаешься в город — пахнет
Жасминами, утренним чадом,
И каспийский ветер не в силах
Этот запах теплый развеять.
Ты идешь на базарную площадь,
Что лежит у подножья Кавказа.
Восковые кисточки липы,
Коготки шиповника в палисадах,
На прилавках — яблоки и книги,
Вывески на нескольких наречьях,
Голые руки сонных хозяек,
Достающие из-за окон
Вяленой баранины полоски,
От хмеля веселые горцы
В твердых трапециях черных бурок
И папах из коричневой мерлушки,
Вдалеке, за базарной пылью,
Правильные линии кряжей,
Параллельные буркам и папахам,—
Все пронизано солнцем и ветром
И незримой связано связью,
Исполненной чудного смысла,
Но обманчивого представленья,
Что законы низменной жизни
Мудро управляют вселенной,
Что земле неизвестно горе,
Что молодые не умирают,
Что не слышишь ты приближенья
Неизбежного грозного рока.

1950

СОСНЫ

На сосны я смотрел с террасы,
На то, на это деревцо.
Они, как люди чуждой расы,
Казались на одно лицо.

Но длился труд мой плодоносный,
Свой свет на все он излучал,
И начал различать я сосны,
Как я калмыков различал.

У этой рост красив и долог,
У той опоры нет в земле.
От веток ломких, от иголок,
Не схожи тени на стволе.

Вон та горда своим убором,
Но так недуг ее тяжел,
Что планочкой пришлось с забором
Соединить непрочный ствол.

Ее жалеют: не жилица.
Слабее всех она в саду.
Лишь ночью тихо золотится,
Вонзаясь иглами в звезду.

Вон та не даст расти клубнике,
Ее невинный облик — ложь.
О той расскажешь только в книге,
Об этой в песне запоешь.

Нет безразличия былого,
Я новых нахожу друзей,
И отзывается, как слово,
Их робкий шум в душе моей.

1951

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ

Тихо напевает арычок
О звезде над Тихим океаном
И о том, что белый кабачок
При дороге вырос под каштаном.

Пестики, покрытые пылью,
Средь листвы колеблемый фонарик...
Кружку пива пьет товарищ Цой,
Загорелый, высохший малярник.

В тайники тоскующей души
Проникают запахи соблазна.
Шашлыки, пельмени, беляши,—
Вкусно, жирно, дешево и грязно.

Все похоже на родной уют,
На стене — следы густой олифы,
Предлагая сорок разных блюд,
Сверху вниз бегут иероглифы.

Дальше — рынок. Продают собак.
А на среднеазиатском лессе
Набухает рис. Пахуч табак.
Хороши пшеничные колосья.

Что в полях желтеет вдалеке?
Корейнка. И над нею звонок
Комариный плач. В тугом мешке
Неподвижен за спиной ребенок.

Старый Цой, о чем же ты грустишь?
Может, погрузился ты в нирвану?
Иль в твою насильственную тишь
Ворвалась тоска по океану?

Здесь чужая, знойная земля,
В воздухе — безумье и тревога,
И бежит, и кружится, пыля,
Грейдерная бойкая дорога.

1950

У ШЛАГБАУМА

Словно дым над кибиткой, растаяли дымы легенд,
И теперь на дороге — шлагбаум: запрещают в Ташкент
Провозить из района картофель, и фрукты, и рис.
Вот машина к мосту подошла. Сколько лиц, сколько
грузов!
Контролер, с колеса, заглянув невнимательно в кузов,
Сунул руку в кабину, — машина поехала вниз.

Школьник с мамой стоит, хочет мир непонятный
понять.
Он острижен под ноль, и одна лишь оставлена прядь.
Это что за обычай? Никак не припомнится мне...
Вспомнил! Вспомнил — и понял, о мальчик с зеленой
тетрадью:
Мать украсила сына любимого жертвенной прядью
В честь отца, что пошел на войну и погиб на войне.

Мальчик с прядью и женщина с торбою на голове,
Шорох ветра в сухой, придорожной, тяжелой траве,
День, державно ко сну отходящий в червонном венце,
Контролер на посту, выплывающий месяц двурогий,—
Что я вам? Что вы мне? Что нам делать на этой дороге?
Сколько можно томиться догадкой о скором конце?

1950

НОЧЬ В БУХАРЕ

На дворе Заготшерсти — дремота.
В глинобитном пустом гараже
Смуглый сторож сладчайшее что-то
Говорит существу в парандже.

Как сманил он из дома соседку,
Почему она мелко дрожит,
Сквозь густую и грубую сетку
Не глядит на него и молчит?

Всеми звездами полночь нависла,
Между древних сочась куполов.
Он поет — в этой песне три смысла
В неизменном движении слов.

«Одного лишь хочу я на свете —
Озариться небесным лицом,
Удаляясь под своды мечети,
Насладиться беседой с Творцом».

Загудела внезапно трехтонка.
Что, свернула? Страшись, паранджа!
Смысл второй открывается тонко,
И она ему внемлет, дрожа:

«Ты одна лишь нужна мне на свете,
Ты мой светоч, божественный лик.
Эти брови — как своды мечети,
Сотворила любовь твой язык!»

И становится сразу теплее,
Будто слушают вместе со мной
Медресе, купола, мавзолеи
Те слова, что звенят за стеной.

Вновь машина гудит грузовая.
Исчезает, как дух, паранджа.
Смуглый сторож, притворно зевая,
С лампой встал у ворот гаража.

Не пойму, да и думать не надо,
Почему убежала она...
Дышит звездного неба громада,
Блещет ночь, и душна и грозна.

Я брожу, слышу лепет порою
То листвы, то воды, то людей.
Может быть, я сегодня открою
Третий смысл, не досказанный ей.

1952

СНОВА В ОДЕССЕ

Ярко-красный вагончик, кусты будяка,
Тишина станционного рынка,
И по-прежнему воля степная горька,
И как прежде, глазами, сквозь щелку платка,
Улыбается мне украинка.

Оказалось, что родина есть у меня.
Не хотят от меня отказаться,
Ожидая, тоскуя, мне верность храня,
Кое-где пожелтев среди летнего дня,
Молчаливые листья акаций.

Оказалось, что наши родные места
И меня признают, как родного,
Что по-прежнему море меняет цвета,
Но ко мне постоянна его доброта,
Неизменно щедра и сурова.

Я в развалинах столько квартир узнаю,
Столько лиц, дорогих и знакомых,
Этот щебень я знаю, как душу мою,
Здесь я жил, здесь я каждую помню семью
В этих мертвых оконных проемах.

Пустыри невысокой травой заросли,
Что прожилочкой каждой близка мне.
Будто сам я скрывался в подпольной пыли,
Будто сам я поднялся на свет из земли,
С непривычки цепляясь за камни.

Черт возьми, еще пляшет кожевенный цех,
Подпеваает игла с дребезжаньем.
Я — поэт ваш, я — злость ваша, мука и смех,
Я — ваш стыд, ваша месть, обожаю вас всех
Материнским слепым обожаньем.

Это море ночное с коврами огня,
Эти улицы с грубой толпою,
Это смутное чаянье черного дня...
Оказалось, что родина есть у меня,
Я скреплен с ее тяжелой судьбою.

1952

У РАЗВАЛИН ЛИВОНСКОГО ЗАМКА

Быстро по залу ливонского замка
Старый епископ шагал.
«Смерть божества — это смерть моей смерти», —
Он по привычке шептал.
Звенели кольчуги.
Борзые и слуги
Наполнили сумрачный зал.

Рыцарей смяло славянское войско,
Бросить заставив щиты.
Всюду валялось оружие с гербами —
Гриффы, олени, кресты.
Измучились кони.
Под ветром погони
Поникнув, дрожали кусты.

Крикнул епископ: «Не бойтесь осады,
Наша твердыня крепка.
Знаменем крестным ее осенила
Архистратига рука.
Гранитные своды,
Подземные ходы
Останутся здесь на века!»

Ядра вонзались в могучие стены,
Блеском смертельным блестя.
Рыцари в латах своих задыхались,
Камни к бойницам катя,
И падали с башен.
И, кровью окрашен,
Шиповник расцвел, не цветя.

Вот и остались от замка руины
И ничего — от владык.
Плесень забила подземные ходы,
В камне — паук-крестовик,
И только безвестный
Шиповник прелестный
Под гнетом веков не поник.

Так же цветет на родном моем юге,
Сушится в душной избе,
Пахнет в ауле, где сакли пустые,
Дым не идет по трубе,
Калмыцким курганом
Иль рижским органом
Он миру твердит о себе:

«О сколько прошло их,— ужасно их сходство,
Желавших богатства, искавших господства,
Грозивших мечом и огнем!
Невнятно им было,
Что главная сила
Сокрыта в цветенье моем.

Для многих я был незаметен вначале,
Когда же меня свысока замечали,
То выжечь пытались мой цвет,
Копытом глушили,
В газовне душили,
Но вновь я рождался на свет.

Не в зданьях высотных, не в замках бесчисленных,
Не в пышных гербах главарей мимолетных
Читаются знаки судьбы.
Челнок и мотыга,
И парус, и книга —
Мои вековые гербы.

Колючками слабо дано уколоть мне,
Но розами горе дано побороть мне,
Свою раздарив красоту,
И там я сильнее,
Где розы нежнее,
Где алые розы в цвету».

1952

ВОРОБЫШЕК

Заколочены дачи. Не едут машины.
Лишь бормочут во сне ближних сосен вершины,
Прочным снегом лесок подмосковный одет.
Так чему же ты рад, мой поэт воробьиный,
В сером джемпере жгучий брюнет?

Медно-красного солнца сиянье сухое
На тропинки легло, задрожало на хвое,
Обожгло беспредельных снегов белизну,
Ядом сердца вошло в твое сердце живое,
И почувал ты, бедный, весну.

И тебе показалось, что нежен и розов
Небосвод, что уж больше не будет морозов,
В толщу снега проникла горячая дрожь,
Даже в дальних, знакомых гудках паровозов
Ты веселую весть узнаешь.

То-то прыгаешь ты среди зимнего царства
И чирикаешь вечную песню бунтарства.
Ух, какой озорной! Вот взлетел на забор,
И суровых, тяжелых снегов государство
Охватил твой мятущийся взор.

Белка, хвост распушив, постоит перед елкой,
Иль вдали ты заметишь монтера с кошелкой,
Говоришь себе: «Скоро приедут жильцы,
Это все не случайно. Запой же, защелкай,
Чтоб тепла встрепенулись гонцы!»

Мой дружок, ты обманут, не жди ты веселий.
Этот огненный шар, что горит между елей,
Он снегов холодней, он тепла не принес.
Если хочешь ты знать, он предвестник метелей,
И в него-то ударит мороз.

Ну, куда тебе петь! Скоро стужею дикой
Будешь ты унесен по равнине великой.
Впрочем, больно и стыдно тебя огорчать.
Песни нет, а настала пора, так чирикай,
Потому что труднее молчать.

И быть может, когда ты сидел на заборе,
Впрямь весна родилась, и пахучие зори,
И свобода воды, и ликующий гром,—
Ибо все это было в мятущемся взоре
И в чириканье жалком твоём.

1953

В НОЧНОМ РОСТОВЕ

Светло на площади Ростова,
На спусках глухо и темно,
И только в тихом Доне снова
Ночное пламя зажжено,—

То азиатскими коврами
На легкой зыблется волне,
То светозарными столбами
Горит в недвижной глубине.

Порой, полнеба озаряя,
Там, на невидимом мосту,
Сверкнет галактика трамвая,
Ниспровергаясь в темноту.

Речной вокзал, толпу с поклажей,
Влюбленной пары «да» и «нет»,
Как нити из непрочной пряжи,
Выхватывает белый свет.

Мне вспомнилось другое пламя.
Горела степь, горел Ростов.
Закат взвивался, точно знамя
Завоевательских полков.

Майор НКВД, с бумагой,
Накопленной за столько лет,
В машине драпал... Над беднягой
Смеясь, ему глядел я вслед.

Смеясь... А сам я ждал, что буду
Я в этом пламени сожжен,
Но жаждал чуда, верил чуду,
Бежал, огнем заморожен,

А тихий Дон, а Дон жестокий
Торжествовал: «Бегишь? Бегишь?
Беги: погибнешь на востоке,
А нет — на западе сгоришь!»

Но сердце Дону отвечало:
«Молчи ты, голубой лампас!
Сгорю, но жить начну сначала:
Мой смертный час — мой светлый час!»

Мой светлый час... Огни трамвая,
Реки блистанье, смех впотьмах...
О неужели правда злая
Таилась, Дон, в твоих словах?

1954

МОЛОДАЯ МАТЬ

Лежала Настенька на печке,
Начфин проезжий — на полу.
Посапывали две овечки
За рукомойником в углу.

В окне белела смутно вишня,
В кустах таился частокол.
И старой бабке стало слышно,
Как босиком начфин прошел.

Ее испуг, его досада
И тихий жаркий разговор.
— Не надо, дяденька, не надо!
— Нет, надо! — отвечал майор.

Не на Дону, уже за Бугом
Начфин ведет свои дела,
Но не отделалась испугом,
Мальчонку Настя родила.

Черты бессмысленного счастья,
Любви бессмысленной черты,—
Пленяет и пугает Настя
Сияньем юной красоты,

Каким-то робким просветленьем,
Понятным только ей одной,
Слегка лукавым удивленьем
Пред сладкой радостью земной.

Она совсем еще невинна
И целомудренна, как мать.
Еще не могут глазки сына
Ей никого напоминать.

Кого же? Вишню с белой пеной?
Овечек? Частокол в кустах?
Каков собою был военный:
Красив ли? Молод ли? В годах?

Все горечи еще далёки,
Еще таит седая рань
Станичниц грубые попреки,
И утешения, и брань.

Она сойдет с ребенком к Дону,
Когда в цветах забродит хмель,
Когда Сикстинскую мадонну
С нее напишет Рафаэль.

1955

ПОДРАЖАНИЕ КОРАНУ

Глава ХСІХ

Не упаду на горы и поля
Ни солнцем теплым, ни дождем весенним:
Ты сотрясешься, твердая земля,
Тебе обетованным сотрясеньем.

Ты мертвецов извергнешь из могил,
Разверзнутся блистательные недра.
Твой скорбный прах сокровища таил,
И ты раздашь их правильно и щедро.

Узнает мир о друге и враге,
О помыслах узнает и поступках
Закоченевших в тундре и тайге,
Задушенных в печах и душегубках.

Один воскликнет нагло и хитро:
— Да, сотворил я зло, но весом в атом! —
Другой же скажет с видом виноватым:
— Я весом в атом сотворил добро.

1955

ПЕПЕЛ

Постарались и солнце, и осень,
На деревьях листву подожгли.
Дети племени кленов и сосен,
Отпылав, на земле полегли.

Очертаньем, окраскою кожи,
Плотью, соком, красою резной
Друг на друга листы не похожи,
Но лежат они кучей сплошной.

В этом, красном,— обличье индийца,
Этот, желтый,— ну, право, монгол.
Этот миром не мог насладиться,
Зеленя, сгорел, отошел.

Не хотим удивляться бессилью,
Словно так им и надо лежать,
Пеплом осени, лагерной пылью
Под ногами прохожих шуршать.

Отчего же осенним затишьем
Мы стоим над опавшей листвой
И особенным воздухом дышим
И не знаем вины за собой?

Тополей и засохших орешин,
Видно, тоже судьба не проста.
Ну, а я-то не лист, не безгрешен,
Но, быть может, я лучше листа?

Знал я горе, стремление к благу,
Муки совести, жгучий позор...
Неужели вот так же я лягу —
Пепел осени, лагерный сор?

1956

БОГОРОДИЦА

1

Гремели уже на бульжнике
Немецкие танки вдали.
Уже фарисеи и книжники
Почетные грамоты жгли.
В то утро скончался Иосиф,
Счастливец, ушел в тишину,
На муки жестокие бросив
Рожавшую в муках жену.

2

Еще их соседи не предали,
От счастья балдея с утра,
Еще даже имени не дали
Ребенку того столяра,
Душа еще реяла где-то
Умершего сына земли,
Когда за слободкою в гетто
И мать, и дитя увели.

3

Глазами недвижными нелюди
Смотрели на тысячи лиц.
Недвижны глаза и у челяди —
Единое племя убийц.
Свежа еще мужа могила,
И гибель стоит за углом,
А мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

Земное осело, отсеялось,
 Но были земные дела.
 Уже ни на что не надеялась,
 Но все же чего-то ждала.
 Ждала, чтобы вырос он, милый,
 Пошел бы, сначала ползком,
 И мать мальчугана кормила
 Сладчайшим своим молоком.

И яму их вырыть заставили,
 И лечь в этом глиняном рву,
 И нелюди дула направили
 В дитя, в молодую вдову.
 Мертвящая, черная сила
 Уже ликовала кругом,
 А мать мальчугана кормила
 Сладчайшим своим молоком.

Не стала иконой прославленной,
 Свалившись на глиняный прах,
 И мальчик упал окровавленный
 С ее молоком на губах.
 Еще не нуждаясь в спасенье,
 Солдаты в казарму пошли,
 Но так началось воскресенье
 Людей, и любви, и земли.

1956

ГРЕК

У самого Понта Эвксинского,
 Где некогда жил Геродот,
 У самого солнца грузинского,
 Где цитрус привольно растет,
 Где дышит в апреле расцветшая
 Пугливая прелесть цветов,
 Где пышет вражда сумасшедшая
 Различных племен и родов,

Где землю копают историки
На твердом морском берегу,—
Кофейню в неприбранном дворике
Никак я забыть не могу.

Туристы, простые и знатные,
Дороги не ищут сюда.
Бывают здесь люди приятные,
Почтенные люди труда.

Армяне-сапожники, умницы,
Портные, торговая сеть,
Мыслители рынка и улицы
Здесь любят в прохладе сидеть.

В обычаях жителя местного —
Горячий, но вежливый спор.
За чашечкой кофе чудесного
Неплохо вести разговор.

Там, в дальнем углу,— завсегда таи,
И это видать по всему.
Как рады, худые, усатые,
Соседу они своему!

Он смотрит глазами блестящими,
Издерганный, смуглый, седой.
Поднимет руками дрожащими
То кофе, то чашку с водой,

Поднимет — и в жгучем волнении
На столик поставит опять.
«...Я сделал им там заявление:
— А что, если смогут узнать,

О нашей проведают гибели
Бойцы Белояниса вдруг?
За это и зубы мне выбили». —
«А много ли?» — «Тридцать на круг».

«Да что ты, чудак, ерепенишься?
Вернулся? Живи как-нибудь!
Еще ты не старый, ты женишься,
Но рот себе справь, не забудь».

Он слушал и шутки отбрасывал
Оливковой нервной рукой.
А море закат опоясывал,
И шум утихал городской.

Казалось, что крик человеческий
Рожден в глубинах морских:
Одних проклинал он по-гречески,
По-русски рыдал о других.

1956

САД НА КРАЮ ПУСТЫНИ

Сад роскошен, высок и велик.
В темноте растворилась ограда.
Лают псы, чей-то слышится крик.
Словно голубь, воркует арык,
Лишь молчит население сада.

Что ему в этих звездных очах,
В дальней ругани, в пьяных ночах,
Где тревога и горе таятся,
Где в пустынных ревет камышах
Тигр в оранжевых брюках паяца.

Для чего ему, саду, слова,
Если ветками яблони всеми
Доказал он, что правда жива,
Что недаром полны торжества
И бесстрашны плодовые семьи.

Только я вот, на каждом шагу
Должен мыслью обманывать гибкой,
Откровенностью, выдумкой зыбкой,
А бывает,— слезой и улыбкой,
Даже болью сердечную лгу.

Как нужна эта горькая смелость,
Эта чаша, что пьется до дна,
Для которой и жить бы хотелось,
Для которой и песня бы пелась,
Для которой и ложь не нужна!

А в саду зарождаются розы.
Мир дробится на капли глюкозы,
Чтобы целостным сделаться вновь,
Затеваются ливни и грозы,
У стены, где надрезаны лозы,
Как счастливые, первые слезы
Виноградная капает кровь.

1956

У СОБАК

Закрутили покрепче мы гайку,
Чтоб никто не сумел отвернуть,
В герметическом ящике Лайку
В планетарный отправили путь.

На траву она смотрит понуро,
На дорожный, неведомый знак,
Не поймет, что заехала, дура,
В государство разумных собак.

Перед нею сады и чертоги,
Академии строгий дворец,
А на площади — четвероногий
Знаменитый, гранитный мудрец.

Депутаты, жрецы, лицедеи,
Псы-ученые, псы-лекаря
Пожелали узнать поскорее
Первобытного пса-дикаря.

И толпа, орденами блистая,
На советскую жучку глядит,
От ее допотопного лая
Ощущая и ужас, и стыд.

Что вы знаете, вы, кавалеры
Золотого созвездия Пса,
О страданиях, которым ни меры,
Ни числа не найдут небеса?

Что запели бы вы в своем доме,
Услыхав директивы цинги,
И просторы республики Коми,
И указы державной тайги?

Благосклонный не стал благородным,
Если с низким забыл он родство,
Он не вправе считаться свободным,
Если цепи на друге его.

Ни к чему вашей мысли паренье,
Словопренье о зле и добре,
Если в сердце лишь страх и презренье
К бессловесной, безумной сестре.

1957

ВАШ СПУТНИК

Я — земной, но сказка стала былью:
На вселенской мельнице тружусь,
И осыпан мелкой млечной пылью,
Вместе с вами, звезды, я кружусь.

Я б навек от смертных откололся,
Утверждаясь в собственном тепле,
Но грибок внутри меня завелся
И сигналы подает земле.

Боже правый, я не жду награды,
Верьте, что, кляня судьбу мою,
Предаю вас, чистые Плеяды,
Солнце и Луну я предаю.

Скучно мне лететь в свободном небе,
Страшно мне глядеть с вершины дней,
И, быть может, мой блестящий жребий
Многих мрачных жребиев трудней.

Может быть, в каком-то жутком блоке,
Где-нибудь в Лефортовской тюрьме,
Более свободен дух высокий,
Что светить умеет и во тьме.

Я парю в паренье планетарном,
Но, я знаю, долговечней тот,
Кто сейчас в забое заполярном
Уголь репрессивный достает.

Пусть я нов, но я надеждой беден,
Потому что не к добру мой труд.
Стану я не нужен, даже вреден,
И меня без шума уберут.

После кратких вынужденных странствий,
Связанный с тобой, земная гниль,
Разобьюсь в космическом пространстве,
Распылюсь, как лагерная пыль.

1957

ПОХОРОНЫ

Умерла Татьяна Васильевна,
Наша маленькая, близорукая,
Обескровлена, обессилена
Восемнадцатилетнею мукою.

С ней прощаются нежно и просто,
Без молитвы и суеты,
Шаповалов из Княж-Погоста,
Яков Горовиц из Ухты.

Для чего копать в историч,
Как возникли навет и поклеп?
Но когда опускался гроб
В государственном крематории,—

Побелевшая от обид,
Горем каторжным изнуренная,
Покоренная, примиренная,
Зарыдала тундра навзрыд.

Это раны раскрылись живые,
Это крови хлестала струя,
Это плакало сердце России —
Пятьдесят восьмая статья.

И пока нам, грешным, не терпится
Изменить иль обдумать судьбу,
Наша маленькая страстотерпица
Входит в пламя — уже в гробу.

Но к чему о скорби всеобщей
Говорить с усмешкою злой?
Но к чему говорить об усопшей,
Что святая стала золой?

Помянуть бы ее, как водится
От языческих лет славянства...
Но друзья постепенно расходятся,
Их Москвы поглощает пространство.

Лишь безмолвно стоят у моста,
Посреди городской духоты,
Шаповалов из Княж-Погоста,
Яков Горовиц из Ухты.

1958

УЛИЦА ПЕЧАЛИ

Говорливый, безумный базар воробьев
На деревьях — свидетелях давних боев,
Вавилонская эта немая тоска
Потемневшего известняка.

Эта улица, имя которой Печаль,
И степная за ней безысходная даль,
Тишина и тепло, лишь одни воробьи
Выхваляют товары свои.

Да сидят у подвала с газетой старик
И старуха, с которой болтать он привык,
И смотрю я на них, и текут в забытьи
Бесприютные слезы мои.

1959

ЗАЛОЖНИК

От Москвы километров отъехали на сто,
И тогда мимо нас, как-то царственно вкось,
Властелин-вавилонянин с телом гимнаста,
Пробежал по тропинке породистый лось.

Князь быков, жрец верховный коровьего стада,
Горбоносый заложник плебея-врага,
От людей не отвел он бесслезного взгляда,
И как знак звездочета темнели рога.

Он боялся машин и дорожного шума,
Как мужчины порою боятся мышей,
Был испуг маловажен, а важная дума
В нем светилась печальной сутью вещей.

Побежать, пожевать бы кипрей узколистный,
А свобода — в созвездиях над головой!
Пленник мира, на мир он смотрел ненавистный,
На союз пожирателей плоти живой.

1960

МОЙ ДЕНЬ

Как молитвы, рождаются дни,
И одни состоят из тумана,
В тальниках замирают они,
Как вечерняя заушь шамана.

У других голоса — как леса,
Переполненные соловьями,
И у них небеса — туеса,
Туеса с голубыми краями.

Вот у этих запевка тиха,
А у тех — высока, хрипловата,
В пестрый гребень муллы-петуха
Заклучат они краски заката.

А бывают такие утра:
Будто слезы из самого сердца,
Льется солнце у них из нутра —
Изуверская кровь страсотерпца.

Как молитвы, рождаются дни,
И одни — как пасхальная скатерть
Посреди подгулявшей родни,
А в окошке — покровская паперть.

Ну а мне — на заре ветерок,
Бесприютная, смутная дрема,
Пьяный дворник взошел на порог —
Судный день накануне погрома.

1960

ТО ДА СЕ

Красивый сон про то да се
Поведал нам Жан-Жак Руссо.

Про то, как мир обрел покой
И стал невинным род людской.

Про то, как все живут кругом
Трудом земли, святым трудом.

Как пахари и пастухи
Дудят в дуду, поют стихи,

Они поют про то да се,
Играют мальчики в серсо...

Жан-Жак, а снились ли тебе
Селенья за Курган-Тюбе?

За проволокой — дикий стан
Самарских высланных крестьян?

Где ни былинки, ни листка
В пустыне долгой, как тоска?

Где тигр трубил издалека?
Где хлопок вырос из песка?

Где чахли дети мужика
В хозяйстве имени Чека?

Там был однажды мой привал.
Я с комендантом выпивал.

С портрета мне грозил Сосо,
И думал я про то да се.

1960

У ГРОБА

В окруженье траурных венков
Он лежал, уже не постигая
Ни цветов, ни медленных шагов,
И не плакала жена седая.

Только к тесу крышки гробовой
Ангелы угрюмо прикорнули,
Да оркестр трудился духовой,
И друзья томились в карауле.

Точно с первой горсточкой тепла
Робкого еще рукопожатья,
К мертвецу с букетом подошла
Женщина в потертом сером платье.

Скрылась, поглощенная толпой,
Что молчание хранила свято...
А была когда-то молодой
И любила мертвеца когда-то.

А какие он писал слова
Существо, поблекшему уныло,
Пусть узнает лишь его могила
Да припомнит изредка вдова...

Если верить мудрецам индийским,
Стану после смерти муравьем,
Глиняным кувшином, лунным диском,
Чей-то мыслью, чьим-то забытьем,

Но к чему мне новое понятие,
Если не увижу никогда
Вот такую, в старом, сером платье,
Что пришла к покойнику сюда.

1960

СОЛОВЕЙ ПОЕТ

Соловей поет за рекой лесной,
Он поет,— расстаются вдруг
То ли брат с сестрой, то ли муж с женой,
То ль с любовницей старый друг.

Поезда гудят на прямом бегу,
И кукушки дрожит ку-ку,
Дятлу хочется зашибить деньгу,
Постолярничать на суку.

Ранний пар встает над гнилой водой,
Над зеленой тайной болот.
Умирает наш соловей седой,
Умирая, поет, поет...

1960

ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ

Мужа уводят, сына уводят
В царство глухое,
И на звериный рык переводят
Горе людское.

Обыски ночью — и ни слезинки,
Ни лихоманки
Возле окошка, возле кабинки,
Возле Лубянки.

Ей бы, разумной,— вольные речи,
Но издалече
Только могила с ней говорила,
Только могила.

Ей бы игрушки, ей бы подарки,
Всякие тряпки,—
Этой хохлушке, этой татарке,
Этой кацапке,

Но ей сказали: «Только могила,
Только могила!»
Все это было, все это было,
Да и не сплыло.

1960

ОЧЕВИДЕЦ

Ты понял, что распад сердец
Страшней, чем расщепленный атом,
Что невозможно наконец
Коснуть в блаженстве глуповатом,

Что много пройдено дорог,
Что нам нельзя остановиться,
Когда растет уже пророк
Из будничного очевидца.

1960

МЕРТВЫМ

В этой замкнутой, душной чугунности,
Где тоска с воровским улюлю,
Как же вас я в себе расщеплю,
Молодые друзья моей юности?

К Яру Бабьему этого вывели,
Тот задушен таежною мглой.
Понимаю, вы стали золой,
Но скажите: вы живы ли, живы ли?

Вы ответьте,— прошу я немного:
Там, в юдоли своей неземной,
Вы звереете вместе со мной,
Низвергаясь в звериное логово?

Или гибелью вас ошастливили
И, оставив меня одного,
Не хотите вы знать ничего?
Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?

1960

АКУЛИНА ИВАНОВНА

У Симагиных вечером пьют,
Акулину Ивановну бьют.

Лупит внук,— не закончил он, внук,
Академию разных наук:

«Ты не смей меня, ведьма, сердить,
Ты мне опиум брось разводить!»

Тут и внука жена, и дружки,
На полу огурцы, пирожки.

Участковый пришел, говорит:
«По решетке скучаешь, бандит?»

Через день пьем и мы невзначай
С Акулиной Ивановной чай.

Пьет, а смотрит на дверь, сторожит.
В тонкой ручечке блюдец дрожит.

На исходе десятков восьмой,
А за внука ей больно самой.

В чем-то держится эта душа,
А душа — хороша, хороша!

«Нет, не Ванька, а я тут виной,
Сам Господь наказал его мной.

Я-то что? Помолюсь, отойду
Да в молитвенный дом побреду.

Говорят мне сестрицы: «Беда,
Слишком ты, Акулина, горда,

Никогда не видать твоих слез,
А ведь плакал-то, плакал Христос».

1960

ДОБРО

Добро — болван, добро — икона,
Кровавый жертвенник земли,
Добро — тоска Лаокоона,
И смерть змеи, и жизнь змеи.

Добро — ведро на коромысле
И капля из того ведра,
Добро — в тревожно-жгучей мысли,
Что мало сделал ты добра.

1960

ПО ВЕСЕННИМ ПОЛЯМ

Теплый свет, зимний хлам, снег с водой пополам,
Солнце-прачка склонилось над балкой-корытом.
Мы поедем с тобой по весенним полям,
По весенним полям, по весенним полям,
По дорогам размытым.

Наш конек седогривый по кличке Мизгирь
Так хорош, будто мчался на нем богатырь.
Дорогая, не холодно ль в старой телеге?
Узнаешь эту легкую русскую ширь,
Где прошли печенеги?

Удивительно чист — в проводах — небосклон.
Тягачи приближаются с разных сторон.
Грузовые машины в грязи заскучали.
Мы поедем с тобой в запредельный район,
Целиною печали.

Ты не думай о газовом смраде печей,
Об острожной тревоге таежных ночей,—
Хватит, хватит нам глухонемого раздумья!
Мы поедем в глубинку горячих речей,
В заповедник безумья.

Нашей совести жгучей целительный срам
Станет славой людской на судилище строгом.
Мы поедем с тобой по весенним полям,
По весенним полям, по весенним полям,
По размытым дорогам.

1960

КОМБИНАТ ГЛУХОНЕМЫХ

Даль морская, соль живая
Знойных улиц городских.
Звон трамвая. Мастерская —
Комбинат глухонемых.

Тот склонился над сорочкой,
Та устала от шитья,
И бежит машинной строчкой
Линия небытия.

Ничего она не слышит,
Бессловесная артель,
Лишь в окно сквозь сетку дышит
Полдень мира, южный хмель.

Неужели мы пропали,
Я и ты, мой бедный стих,
Неужели мы попали
В комбинат глухонемых?

1960

НА РЕАКТИВНОМ САМОЛЕТЕ

Сколько взяли мы разных Бастилий,
А настолько остались просты,
Что Творца своего поместили
Посреди неземной высоты.

И когда мы теперь умудренно
Пролагаем заоблачный след,
То-то радость: не видно патрона,
Никакого всевышнего нет!

Где же он, судия и хозяин?
Там ли, в капище зла и греха,
Где ликует и кается Каин,
Обнажая свои потроха?

Или в радостной келье святого,
Что гордится своей чистотой?
Или там, где немотствует слово,
Задыхаясь под жесткой пятой?

Или там, где рождаются люди,
Любят, чахнут и грезят в бреду —
В этом тусклом и будничном блюде,
В этом истинно райском саду!

1960

РИСУНОК В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ

Не для того идет весна, чтоб заблудиться в соснах,
Чтоб между ними постелить роскошные ковры:
Кругом галактики горят растений светоносных,
Могучих полевых цветов планеты и миры.

В первоначальной чистоте туманности речные
Довавилонским словарем владеют до сих пор.
На этой средней полосе земли моей, России,
Я слышу трав и родников старинный разговор.

Поймите же, что каждый день становится началом
И нам сулит, как первый день, грядущую грозу!
В треухе, в роговых очках, в пальтишке обветшалом,
Сидит старик, сидит, пасет печальную козу.

1960

РИСУНОК В ВАГОНЕ

Яснеют законы добра
В четвертом своем измеренье:
Не завтра, а наше вчера
Сегодня поймешь в озаренье.

У мальчика что-то в лице,
Чем с миром прошедшим он связан.
Себя не найдет он в отце,
Но тот уже в нем предуказан.

А поезд в движенье живом
Шумит, приближаясь к платформе:
Так мысль, чтобы стать существом,
Спешит к предназначенной форме.

1960

РИСУНОК НА ГРЕЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ

И дворик, и галерея
Увиты пыльным плющом.
Проститься бы поскорее —
О чем говорить, о чем?

Твой город в прежней одежде,
Но сам ты не прежний нахал,
Хотя и краснеет, как прежде,
Седая мадам Феофал.

А там, на площади, людно,
Таксисты дремлют в тени.
Отсюда попасть нетрудно
В Херсон, Измаил, Рени...

Зачем, неудачник, злишься?
Иль вспомнить уже не рад,
Какой была Василиса
Лет тридцать тому назад?

Прокрадывалась в сарайчик —
И дверь за собой на засов,
И лишь электрический зайчик
Выскакивал из пазов!

Угадывал ты, счастливый,
Чуть стыдный ее смешок,
А на губах торопливый
Горел, не стихал ожог.

Студентик в пору каникул,
Не ты ли еще вчера
В душе своей жалко чирикал
О смерти, о казни добра?

Как в омут потусторонний
Смотрел ты, робкий смутьян,
На жмеринковском перроне
В глаза безумных крестьян.

Вповалку они лежали,
Ни встать, ни уйти не могли,
Прошедших времен скрижали
Клеймили их: куркули.

Но дикость хохлатского неба,
Но звезд золотой запас,
Но дикая стоимость хлеба,
Но боль обезумевших глаз

Померкли пред этой искрой
Во мраке южных ночей,
Пред этой легкой и быстрой,
Безумной любовью твоей,

С веселой, готовой пухнуть
Смуглою наготой,
С тяжелой, готовой рухнуть
Греческой красотой.

1960

КОЛЮЧЕЕ КРУЖЕВО

Там, где вьется колючее кружево
То сосной, то кустом,
Там, где прах декабриста Бестужева,
Осененный крестом,

Там, где хвоя, сверкая и мучая,
Простодушно-страшна,
Где трава ая-ганга пахучая,
Как лаванда, нежна,

Там, где больно глазам от сияния
Неземной синевы,
Где буддийских божеств изваяния
Для бурята мертвы,

Где дрожит Селенга многоводная
Дрожью северных рек,
Где погасли и Воля Народная,
И эсер, и эсдек,—

Мы великим надгробия высечем,
Мы прославим святых,
Но что скажем бесчисленным тысячам
Всяких — добрых и злых?

И какая шаманская мистика
Успокоит сердца
Там, где жутко от каждого листика,
От полета птенца.

1961

ГОРОД-СПУТНИК

Считался он раньше секретным,
Тот город вблизи наших мест.
При встрече с приютом запретным
Спешили машины в объезд,
Но после двадцатого съезда
Не надобно больше объезда.

Я в очередь, нужную массам,
Встаю у нещедрых даров.
Мне парень, торгующий мясом,
Кричит: «Израилич, здоров!»
И вполоборота: «Эй, касса,
Учти, что кончается мясо!»

Мне нравится улиц течение —
Средь сосен глубокий разрез,
Бесовское в башнях свечение,
Асфальт, устремившийся в лес,
И запад, огнями багримый,
И тонкие, пестрые дымы.

Люблю толстопярых мужичек
И звонкую злость в голосах,
Люблю малокровных физичек
С евфратской печалью в глазах,
Люблю офицеров запаса —
Пьянчужек рабочего класса.

Слышал я: под тяжестью сводов,
Под зеленью этой травы —
Кварталы, где много заводов,
Где сколько угодно жратвы,
Где лампы сияют монистом
Механикам и программистам...

Уйдем от назойливых басен!
Поверь, что не там, под землей,
А здесь этот город прекрасен —
Не плотской красой, а иной,
Не явью, хоть зримой, но мнимой,
А жизнью покуда незримой,

Незримой, еще не созрелой,
Себе непонятной самой,
И рабской, и робкой, и смелой,
И волей моей, и тюрьмой,
И цепью моей, и запястьем,
И мраком, и смрадом, и счастьем!

1961

ЧЕЛОВЕК В ТОЛПЕ

Там, где смыкаются забвенье
И торный прах людских дорог,
Обыденный, как вдохновенье,
Страдал и говорил пророк.

Он не являл великолепья
Отверженного иль жреца,
Ни язв, ни струпов, ни отрепья,
А просто сердце мудреца.

Он многим стал бы ненавистен,
Когда б умели различать
Прямую мощь избитых истин
И кривды круглую печать.

Но попросту не замечали
Среди всемирной суеты
Его настойчивой печали
И сумасшедшей правоты.

1961

ЧАСТУШКА

С недородами, свадьбами, плачами
Да с ночными на скромных лугах,
Вековала деревня у Пачелмы
И в давнишних, и в ближних веках.

Перемучили, переиначили
Все, что жило, росло и цвело.
Уж людей до того раскулачили,
Что в кулак животы посвело.

И — бежать! Хоть ловили на станции,
Крестный-стрелочник прятал до звезд.
Слава Богу, живем не во Франции,—
За пять тысяч очухались верст.

Где в штанах ходят бабы таджицкие,
Где на троицу жухнет трава,
Обкибитились семьи мужицкие,
И записаны все их права.

И курносые и синеглазые
Собираются в день выходной,
И на дворике веточки Азии
Плачут вместе с частушкой хмельной.

1961

КНЯЗЬ

Потомок желтых чужеземцев
И Рюриковичей родня,
Он старые повадки земцев
Сберег до нынешнего дня.

Хром, как Тимур, стучит, как дятел,
Своим мужицким костылем.
Сам не заметил, как растратил
Наследство перед Октябрем.

Он ищет счастья в шуме сучьев,
В тепле парного молока.
Ему рукою машет Тютчев,
Кивает Дант издалека.

Он говорит: «Приди Мессия,
Скажи он мне: — Ты лучше всех! —
Я прогоню его: живые,
Мы все равны, а святость — грех».

Он мне звонит, когда в журнале
Читает новый перевод:
«Дружочек, сократить нельзя ли?
Не терпит истина длиннот!»

«Петр Павлович, приятным словом
Порадуйте меня!» — «А что,
Готов порадовать: я в новом,—
Вчера купили мне пальто.

Тепло, легко,— ну, легче пуха.
— Ты важен в нем,— сказал мне внук...»
И, в трубку засмеявшись глухо,
Беседу обрывает вдруг.

1961

ПЕРВЫЙ МОРОЗ

Когда деревья леденит мороз
И круг плывет, пылая над поляной,
Когда живое существо берез
Скрипит в своей темнице деревянной,

Когда на белом, пористом снегу
Еще белее солнца отблеск ранний,—
Мне кажется, что наконец могу
Стереть не мною созданные грани,

Что я не вправе без толку тускнеть
И сердце хитрой слабостью калечить,
Что преступленье — одеревенеть,
Когда возможно все очеловечить.

1961

ДОРОГА

Лежит в кювете грязный цыганенок,
А рядом с ним, косясь на свет машин,
Стоит курчавый, вежливый ягненок
И женственный, как молодой раввин.

Горячий, ясный вечер, и дорога,
И все цветы лесные с их пыльцой,
И ты внезапно открываешь Бога
В своем родстве с цыганом и овцой.

1961

ТАЙГА

Забутые закамские соборы,
Высокие закамские заборы
И брехи ссучившихся псов,
Из дерева, недоброго, как хищник,
Дома — один тюремщик, тот барышник
С промышленной узостью пазов.

В закусовых, в дыханье ветра шалом,
Здесь всюду пахнет вором и шакалом,
Здесь раскулаченных ковчег,
Здесь всюду пахнет лагерной похлебкой,
И кажется: кандальной заклепкой
Приклепан к смерти человек.

Есть что-то страшное в скороговорке,
Есть что-то милое в твоей махорке,
Чалдон, пропойца, острослов.
Я познакомился с твоим оскалом,
С больным, блестящим взглядом, с пятипалым
Огнем твоих лесных костров.

Мы едем в «газике» твоей тайгой,
Звериной, гнусной, топкою, грибною,
Где жуть берет от красоты,
Где колокольцы жеребят унылы,
Где странны безымянные могилы
И ладной выделки кресты.

Вдруг степь откроется, как на Кавказе,
Но вольность не живет в ее рассказе.
Здесь все четыре стороны —
Четыре севера, четыре зоны,
Четыре бездны, где гниют законы,
Четыре каторжных стены.

Мне кажется, надев свой рваный ватник,
Бредет фарцовщик или медвежатник —
Расконвоированный день,
А сверху небо, как глаза конвоя,
Грозит недвижимой, жесткой синевой
Голодных русских деревень.

Бывал ли ты на месте оцепленья,
Где так робка сосны душа оленья,
Где «Дружба», круглая пила,
Отцов семейств, бродяг и душегубов
Сравнила, превратила в лесорубов
И на правез в тайгу свела?

Давно ли по лесам забушевала
Повальная болезнь лесоповала?
Давно ли топора удар
Слывет высокой мудрости мудрее,
И валятся деревья, как евреи,
А каждый ров — как Бабий Яр?

Ты видел ли палаческое дело?
Как лиственницы радостное тело
Срубив, заставили упасть?
Ты видел ли, как гордо гибнут пихты?
Скажи мне — так же, как они, затих ты,
Убийц не снизойдя проклясть?

Ты видел ли движенье самосплава —
Растения поруганное право?
Враждуем с племенем лесным,
Чтоб делать книжки? Лагерные вышки?
Газовням, что ли, надобны дровишки?
Зачем деревья мы казним?

Зато и мстят они безумной власти!
Мы из-за них распались на две части,
И вора охраняет вор.

Нам, жалкому сообществу страдания,
Ты скоро ль скажешь слово оправдания,
Тайга, зеленый прокурор?

1962

СУЯЗОВ

Баллада

Суязову сказано: «Сделай доклад»,—
А волость глухая, крестьяне галдят.

В газетах тревога: подходит Колчак,
И рядышком где-то бандитский очаг.

Суязов напорист, Суязов горяч,
Суязову нравится жгучий первач.

Собрал мужиков, чтобы сделать доклад,
Но смотрит — одни лишь бандиты сидят.

Бандиты в лаптях, в армяках, в зипунах
Двоятся в глазах и троятся в глазах!

Он выхватил свой полномочный наган,
Убил четырех бородатых крестьян.

К Суязову вызвали сразу врача,—
Ударил в очкарика дух первача.

В те годы своих не сажали в тюрьму.
Газеты читать запретили ему:

Видать, впечатлителен парень весьма,
От разного чтенья сойдет он с ума...

Прошло, протекло сорок сказочных лет.
Суязов с тех пор не читает газет.

На пенсию выйдя, устав от трудов,
Суязов гуляет у Чистых прудов.

1962

ЛЕЗГИНКА

Пир, предусмотренный заранее,
Идет порядком неизменным.
В селенье выехав, компания
Весельем завершает пленум.

Пальто в автобусе оставили,
Расположились за столами.
Уже глаголами прославили
То, что прославлено делами.

Уже друг друга обессмертили
В заздравных тостах эти люди.
Уже и мяса нет на вертеле,
А новое несут на блюде.

Уже, звеня, как жало узкое,
Доходит музыка до кожи.
На круг выходит гостя русская,
Вина грузинского моложе.

Простясь на миг с манерой бальной,
С разгульной жизнью в поединке,
Она ракетой глобальной
Как бы взвивается в лезгинке.

Она танцует, как бы соткана
Из тех причин, что под вагоны
Толкали мальчика Красоткина
Судьбы испытывать законы.

Танцует с вызовом мальчишечьим,
Откидываясь, пригибаясь,
И сразу двум, за нею вышедшим,
Но их не видя, улыбаясь.

Как будто хочет этой пляскою
Неведомое нам поведать
И вместе с музыкой кавказскою
Начало бытия изведать.

И все нарочное, порочное
Исчезло или позабыто,
А настоящее и прочное
Для нас и для нее раскрыто.

И на движенья грациозные
Приезжей, тонкой и прелестной,
Глядят красавицы колхозные,
Притихший сад породы местной.

1962

СТАРОСТЬ

В привокзальном чахломе скверике,
В ожидании дороги,
Открывать опять Америки,
Подводить опять итоги,

С молодым восторгом каяться,
Удивленно узнавая,
Что тебя еще касается
Всей земли печаль живая,

И дышать свободой внутренней
Тем жадней и тем поспешней,
Чем сильнее холод утренний —
Той, безмолвной, вечной, внешней.

1962

ДАО

Цепи чувств и страстей разорви,
Да не будет желанья в крови,

Уподобь свое тело стволу,
Преврати свое сердце в золу,

Но чтоб не было сока в стволе,
Но чтоб не было искры в золе,

Позабудь этот мир, этот путь,
И себя самого позабудь.

1962

ТЕНИ

Люди разных наций и ремесел
Стали угонченной и умней
С той поры, как жребий их забросил
В парадиз, в Элизиум теней.

Тихий сонм бесплотных, беспартийных,
Тени, тени с головы до пят,
О сонетах, фугах и картинах
И о прочих штуках говорят.

Этот умер от плохого брака,
Тот — когда повел на битву Щорс,
Та скончалась молодой от рака,
Тот в тайге в сороковом замерз...

Притворяются или забыли?
Все забыли, кроме ерунды,
Тоже ставшей тенью чудной были,
Видимостью хлеба и воды.

А один и впрямь забыл былое,
И себя забыл. Но кем он был?
Брахманом ли в зарослях алоэ?
На Руси родился и любил?

Он привык летать в дурное место,
Где грешат и явно, и тайком,
Где хозяйка утром ставит тесто,
Переспав с проезжим мужиком,

Где обсчитывают, и доносят,
И поют, и плачут, и казнят,
У людей прощения не просят,
А у Бога — часто невпопад...

Он глаза, как близорукий, щурит,
Сияясь вспомнить некий давний день,
И, своих чураясь, жадно курит
Папиросы призрачную тень.

1962

Степь шумит, приближаясь к ночлегу,
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу
Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье?
Это римские речи звучат.
Сотворили-то их каторжане,
А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблистал Капитолий,
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий
Ломовую гоняет латынь.

Точно так же блатная музыка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За окурок от чых-то щедрот
Представителям каторжной банды
Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде
В резервацьи воров и блядей.

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел твою книгу,
И недаром теперь мне дано
На рассвете доесть мамалыгу
И допить молодое вино.

1962

ЗАБЫТЫЕ ПОЭТЫ

Я читаю забытых поэтов.
Почему же забыты они?
Разве краски закатов, рассветов
Ярче пишутся в новые дни?

Разве строки составлены лучше
И пронзительней их череда?
Разве терпкость неожиданных созвучий
Неизвестна была им тогда?

Было все: и восторг рифмованья,
И летучая живость письма,
И к живым, и к усопшим взыванья,—
Только не было, братцы, ума.

Я уйду вместе с ними, со всеми,
С кем в одном находился числе...
Говорят, нужен разум в эдеме,
Но нужнее — на грешной земле.

1963

ЛУННЫЙ СВЕТ

Городские парнишки со щупами
Ищут спрятанный хлеб допоздна,
И блестит над степными халупами,
Как турецкая сабля, луна.

Озаряет семейства крестьянские:
Их отправят в Котовск через час,
А оттуда в места казахстанские:
Ликвидируют, значит, как класс.

Будет в красных теплушках бессонница,
Будут плакать, что правда крива...
То гордится под ветром, то клонится
Аж до самого моря трава.

Стерегут эту немощь упорную —
Приумолкший угрюмый народ.
Если девушка хочет в уборную,
Вслед за нею конвойный идет.

Дверцу надо держать приоткрытою:
Не сбежишь, если вся на виду...
Помню степь, лунным светом облитую,
И глухую людскую беду.

Я встречаю в Одессе знакомого.
Он теперь вне игры, не у дел.
Не избег он удела знакомого,
Восемнадцать своих отсидел.

Вспоминает ли, как раскулачивал?
Как со щупом искал он зерно?
Ветерок, что траву разворачивал?
Лунный свет, что не светит давно?

1963

ГЕОЛОГ

Листья свесились дряхло
Над водой, над судьбой.
В павильоне запахло
Шашлыком и шурпой.

В тюбетейке линялой,
Без рубашки, в пальто,
Он с улыбкой усталой
Взял два раза по сто.

Свой шатер разбивавший
Там, где смерч и буран,
Наконец отыскавший
Этот самый уран,—

Он сорвался, геолог,
У него, брат, запой...
День безветренный долог
И наполнен толпой.

Наважденье больное —
Чудо русской толпы
В сказке пыли и зноя,
Шашлыка и шурпы!

В сорок лет он так молод,
Беден, робок и прост,
Словно трепет и холод
Горных рек, нищих звезд.

1963

ОБЕЗЬЯННИК

Когда, забыв начальных дней понятие
И разум заповедных книг,
Разбойное и ловчее занятие
Наш предок нехотя постиг,

Когда утратил право домочадца
На сонмы звезд, на небеса,
И начали неспешно превращаться
Поля и цветники в леса,—

Неравномерным было одичанье:
Вон там не вывелся букварь,
А там из ясной речи впал в мычанье
Еще не зверь, уже дикарь,

А там, где шел распад всего быстрее,
Где был активнее уран,
Властители, красавцы, грамотеи
Потомством стали обезьян.

Еще я не нуждаюсь в длинных лапах,
Но в обезьянник я вхожу,
И, чувствуя азотно-кислый запах,
Несчастливым выродкам твержу:

«Пред вами — царства Божьего обломки,
Развалины блаженных лет.
Мы, более счастливые потомки,
Идем во тьму за вами вслед».

1963

РОЖДЕСТВО

В том стандартном поселке,
Где троллейбус кончает маршрут,
В честь рождественской елки
Пляшут, пьют и поют.

В доме — племя уборщиц,
Судомоек и нянь из больниц,
Матерщинниц и спорщиц,
Работяг и блудниц.

Не ленивы как будто,
Не бегут от шитья и мытья,
Но у них почему-то
Не бытуют мужья.

У красивой Васёны
Настроенье гулять и гулять.
Аппарат самогонный
Поработал на ять.

В деревенских частушках
Есть и воля, и хмель, и метель.
В разноцветных игрушках
Призадумалась ель.

Сын смеется: «Маманя,
Ты не видишь, что рюмка пуста!»
И, глаза ей туманя,
Набегают мечта.

А на небе сыночка
В колыбели качает луна,
Словно мать-одиночка,
Ожиданья полна.

1963

МОЛЧАЩИЕ

Ты прав, конечно. Чем печаль печальней,
Тем молчаливей. Потому-то лес
Нам кажется большой исповедальной,
Чуждающейся выпрених словес.

Есть у деревьев, лиственных и хвойных,
Бесчисленные способы страдать
И нет ни одного, чтоб передать
Свое отчаянье... Мы, в наших войнах

И днях затишья, умножаем чад
Речей, ругательств, жалоб и смятений,
Живя среди чувствительных растений,
Кричим и плачем... А они молчат.

1963

ВИЛЬНЮССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Ни вывесок не надо, ни фамилий.
Я все без всяких надписей пойму.
Мне камни говорят: «Они здесь жили,
И плач о них не нужен никому».
А жили, оказалось, по соседству
С епископским готическим двором,
И даже с ключарем — святым Петром,
И были близки нищему шляхетству,
И пан Исус, в потертом кунтуше,
Порою плакал и об их душе.

Теперь их нет. В средневековом гетто
Курчавых нет и длинноносых нет.
И лишь в подворье университета,
Под аркой, где распластан скудный свет,
Где склад конторской мебели, — неожиданно
Я вижу соплеменников моих,
Недвижных, но оставшихся в живых,
Изваянных Марию, Иоанна,
Иосифа... И слышит древний двор
Наш будничный, житейский разговор.

1963

ЗИМНЕЕ УТРО

А кто мне солнце в дар принес,
И леса темную дугу,
И тени черные берез
На бледно-золотом снегу?

Они, быть может, без меня
Существовать могли бы врозь,—
И лес, и снег, и солнце дня,
Что на опушке родилось,

Но их мой взгляд соединил,
Мой разум дал им имена
И той всеобщностью сроднил,
Что жизнью кем-то названа.

1964

ШЕЛКОВИЦА

Как только в городской тиши
Ко мне придет полубессонница,
Ночная жизнь моей души,
Как поезд, постепенно тронется.

И в полусне и в полумгле
Я жду, что поезд остановится
На том дворе, на той земле,
Где у окна росла шелковица.

Себя, быть может, обелю,
Когда я объясню старением,
Что это дерево люблю
Лишь с детским, южным ударением.

Иные я узнал дворы,
Сады, и площади, и пагоды,
Но до сих пор во рту остры
И пыльно-терпки эти ягоды.

И злоба отошедших дней,
Их споры, их разноголосица,
Еще больней, еще родней
Ко мне — в окно мое доносится.

Назад, к началу, к той глуши,
Где грозы будущего копятя,
Ночная жизнь моей души
Безостановочно торопится.

Мы связаны на всем пути,
Как связаны слова пословицы,
И никуда мне не уйти
От запылившейся шелковицы.

1965

ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА

В центре города, где назначаются встречи,
Где спускаются улицы к морю покато,
В серой будке звонит городской сумасшедший,
С напряжением вертит он диск автомата.

Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет,
Битый час неизвестно кого вызывая,
То ли плачет он, то ли товарищей кличет,
То ли трется о трубку щетина седая.

Я слышал, что безумец подобен поэту...
Для чего мы друг друга сейчас повторяем?
Опустить мы с тобою забыли монету,
Мы, приятель, не те номера набираем.

1965

У МОРЯ

Шумели волны под огнем маячным,
Я слушал их, и мне морской прибор
Казался однозвучным, однозначным:
Я молод был, я полон был собой.

Но вот теперь, иною сутью полный,
Опять стою у моря, и опять
Со мною разговаривают волны,
И я их начинаю понимать.

Есть волны-иволги и волны-прачки,
Есть волны-злыдни, волны-колдуны.
Заклятьями сменяются заплачки
И бранью — стон из гулкой глубины.

Есть волны белые и полукровки,
Чья робость вдруг становится дерзка,
Есть волны — круглобедрые торговки,
Торгующие кипенью с лотка.

Одни трепещут бегло и воздушно,
Другие — тугодумные умы...
Природа не бывает равнодушна,
Всегда ей нужно стать такой, как мы.

Природа — переводческая калька:
Мы подлинник, а копия она.
В былые дни была иною галька
И по-иному думала волна.

1965

АРАРАТ

Когда с воздушного он спрыгнул корабля,
Потом обретшего название ковчега,
На почву жесткую по имени Земля,
И стал приискивать местечко для ночлега,

Внезапно понял он, что перед ним гора.
С вечерней синевой она соприкасалась,
И так была легка, уступчива, щедра,
Что сразу облаком и воздухом казалась.

Отец троих детей, он был еще не стар,
Еще нездешними наполнен голосами.
Удачливый беглец с планеты бедной Ар,
На гору он смотрел печальными глазами.

Там, на планете Ар, еще вчера, вчера
Такие ж горные вершины возвышались,
Как небожители, что жаждали добра,
Но к людям подойти вплотную не решались.

Все уничтожено мертвящею грозой
Тотальной!.. А здесь три девки с диким взглядом
К трем сыновьям пришли с неведомой лозой:
Ученый Хам назвал растение виноградом.

А наверху олень и две его жены,
Бестрепетно блестя ветвистыми рогами,
Смотрели на него с отвесной вышины,
Как бы союзника ища в борьбе с врагами,

Как бы в предвиденье, что глубже и живей
Мир поразят печаль, смятение и мука,
Что станет сей корабль прообразом церквей,
Что будут кланяться ему стрелки из лука...

Отцу противен был детей звериный срам,
И словно к ангелам, невинным и крылатым,
Он взоры обратил к возвышенным холмам,
И в честь планеты Ар назвал он Араратом

Вершину чистую... А стойбище вдали
Дышало дикостью и первобытным зноем.
Три сына, повалив трех дочерей земли,
Смеялись заодно с землей над ним, над Ноем.

1965

ЕРЕВАНСКАЯ РОЗА

Ереванская роза
Мерным слогом воркует,
Гармонически плачет навзрыд.
Ереванская проза
Мастерит, и торгует,
И кричит, некрасиво кричит.

Ереванскую розу —
Вздых и целую фразу —
Понимаешь: настолько проста.
Ереванскую прозу
Понимаешь не сразу,
Потому, что во всем разлита —

В старике, прищемившем
Левантийские четки
Там, где брызги фонтана летят,
В малыше, устремившем
Свой пытливый и кроткий,
Умудренный страданием взгляд.

Будто знался он с теми,
Чья душа негасима,
Кто в далеком исчез далеке,
Будто где-то в эдеме
Он встречал серафима
С ереванскою розой в руке.

1965

ЧЕШСКИЙ ЛЕС

Готический, фольклорный чешский лес,
Где чистые, пристойные тропинки
Как бы ведут нас в детские картинки,
В мануфактуры сказочных чудес.

Не зелень, а зеленое убранство,
И в птичьих голосах так высока
Холодная немецкая тоска,
И свищет грусть беспечного славянства.

Мне кажется, что разрослись кусты,
О благоденствии людском заботясь,
И все листья — как тысячи гипотез
И тысячи свершений красоты.

Мальчишка в гольфах, бледненький, болезный,
И бабка в прорезиненных штанах
В своем лесу — как в четырех стенах...
Пан доктор им сказал: «Грибы полезны».

Листву сомкнули древние стволы,
Но расступился мрак — и заблестели
Полупустые летние отели
И белые скамейки и столы.

А там, где ниже лиственные своды,
Где цепко, словно миф, живет трава,
Мне виден памятник. На нем слова:
«От граждан украшателю природы».

Шоссе — я издали его узнал
Сквозь стены буков — смотрит в их проломы.
«Да, не тайга», — заметил мой знакомый
Из санатория «Империал».

Веками украшали мы природу
Свою — да и всего, что есть вокруг,
Но стоит с колеи упорной вдруг
Сойти десятилетью или году,

Успех моторизованной орды,—
И чудный край становится тайгою,
Травой уничтожаются глухою
Возделанные нивы и сады,

И там, где предлагали продавщицы
Пластмассовых оленей, где отель
Белел в листве, рычит, как зверь, метель
И спят в логох брюхатые волчицы.

1966

ПУСТОТА

Мы знаем, что судьба просеет
Живущее сквозь решето,
Но жалок тот, кто сожалеет,
Что превращается в ничто.

Не стал ничтожным ни единый,
Хотя пустеют все места:
Затем и делают кувшины,
Чтобы была в них пустота.

1966

ПРИТЧА ОБ ОСЛЕ

Подражание немецкому

Осел идет вперед, повозку тащит,
Воображая,
Что он достигнет неба, где обрящет
Блаженство рая,

Где все ослы избавятся от тягот
И мордобоя,
Где львы и волки с ними рядом лягут
У водопоя.

И было так: один режим сменялся
Другим режимом,
Но свод небес, как прежде, оставался
Недостижимым.

Осел с поклажей двигался устало,
Но постепенно
Его питать в дороге перестало
Надежды сено.

Тогда, чтоб не свалил страдальца голод,
Ему сказали,
Что не на небе, — на земле тот город,
Где нет печали,

Где нет нужды, просторы многотравны
И благовонны,
Где нет бича, все твари равноправны,
Добры законы.

Осел поверил, — с горя, с перепугу
Не понимая,
Что он все время движется по кругу,
И боль немая

Ему не открывала правды жесткой:
«Безумной целью
Ты одержим. Плетешься не с повозкой,
А с каруселью.

На ярмарке на ней кружились боги,
Ушли отселе
И позабыли, разумом убоги,
О карусели».

И вот осел все вертится по кругу,
Воображая,
Что движется к сияющему лугу,
К блаженству рая.

1965

ВОЖАТЫЙ КАРАВАНА

Подражание Саади

Звонков залиvistых тревога заняла слишком рано,—
Повремени еще немного, вожатый каравана!

Летит обугленное сердце за той, кто в паланкине,
А я кричу, и крик безумца — столп огненный
в пустыне.

Из-за нее, из-за неверной, моя пылает рана,—
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

Ужель она не слышит зова? Не скажет мне ни слова?
А впрочем, если скажет слово, она обманет снова.

Зачем звенят звонки измены, звонки ее обмана?
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

По-разному толкуют люди, о смерти рассуждая,
Про то, как с телом расстается душа, душа живая.

Мне толки слушать надоело, мой день затмился ночью!
Исход моей души из тела увидел я воочью!

Она и лживая — желанна, и разве это странно?
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

1966

ДВЕ ЕЛИ

В лесу, где сено косят зимники,
Где ведомственный детский сад
Шумит впазд и невпазд,
Как схиму скинувшие схимники,
Две ели на холме стоят.

Одна мне кажется угрюмее
И неуверенней в себе.
В ее игольчатой резьбе
Трепещет светлое безумие,
Как тихий каганец в избе.

Другая, если к ней притащатся
Лягушка или муравей,
Внезапно станет веселей.
Певунья, нянюшка, рассказчица,
Сдается мне, погибли в ней.

Когда же мысль сосредоточится
На главном, истинном, живом,—
Они ко мне всем существом
Потянутся, и так мне хочется
И думать, и молчать втроем.

1966

ПРОИСШЕСТВИЕ

От надоедливой поделки
Глаза случайно оторвав,
Я встретился с глазами белки,
От зноя смуглой, как зуав.

Зачем же бронзовое тельце
Затрепетало, устрашась?
Ужель она во мне, в умельце,
Врага увидела сейчас?

Вот прыгнула, легко и ловко
Воздушный воздвигая мост.
Исчезла узкая головка
И щегольской, но бедный хвост.

Я ждал ее — и я дождался,
Мы с нею свиделись опять.
В ней некий трепет утверждался,
Мешал ей жить, мешал дышать.

Как бы хотел отнять способность
Взвиваться со ствола на ствол,
И эту горькую подробность
В зрачках застывших я прочел.

Два дня со мной играла в прятки,
А утром, мимо проходя,
Сосед ее увидел в кадке,
Наполненной водой дождя.

Так умереть, так неумело
Таить и обнажить следы...
И только шкурка покраснела
От ржавой дождевой воды.

1966

У МАГАЗИНА

Квартал на дальнем западе столицы,
Где с деревенским щебетаньем птицы
На вывеску садятся торопливо,
Заметив, что вернулись продавщицы
С обеденного перерыва.

В тени, у обувного магазина,—
Свиданье: грустный, пожилой мужчина
С букетиками ландышей в газете
И та, кто виновато и невинно
Сияет в летнем, жгучем свете.

О робость красоты сорокалетней,
Тяжелый, жаркий блеск лазури летней,
И вечный торг, и скудные обновы,
О торжество над бытом и над сплетней
Прасущества, первоосновы!

1967

* * *

Еще дыханье суеты
Тебя в то утро не коснулось,
Еще от сна ты не очнулась,
Когда глаза открыла ты —

С таким провидящим блистаньем,
С таким забвением тревог,
Как будто замечтался Бог
Над незнакомым мирозданьем.

Склоняясь, я над тобой стою
И, тем блистанием палимый,
Вопрос, ликуя, задаю:
— Какие новости в раю?
Что пели ночью серафимы?

1967

ЛЮБОВЬ

Нас делает гончар; подобны мы сосуду...
Кабир

Из глины создал женщину гончар.
Все части оказались соразмерны.
Глядела глина карим взглядом серны,
Но этот взгляд умельца огорчал:

Был дик и тускл его звериный трепет.
И ярость охватила гончара:
Ужели и сегодня, как вчера,
Он жалкий образ, а не душу лепит?

Казалось, подтверждали мастерство
Чело и шея, руки, ноги, груди,
Но сущности не видел он в сосуде,
А только глиняное существо.

И вдунул он в растерянности чудной
Свое отчаянье в ее уста,
Как бы страшась, чтоб эта пустота
Не стала пустотою обоудной.

Тогда наполнил глину странный свет,
Но чем он был? Сиянием страданья?
Иль вспыхнувшим предвестьем увяданья,
Которому предшествует расцвет?

И гончара пронзило озаренье,
И он упал с пылающим лицом.
Не он, — она была его творцом,
И душу он обрел, — ее творенье.

1967

НОЧИ В ЛЕСУ

В этом лесу запрещается рубка.
Днем тишина по-крестьянски важна.
Здесь невозможна была б душегубка.
Кажется,— здесь неизвестна война.

Но по ночам разгораются страсти.
Сбросив личину смиренного дня,
Сосны стоят, как военные части,
Ели враждуют, не зная меня.

Я же хочу в этот лес-заповедник,
Где глубока заснеженная падь,
Не как идущий в народ проповедник,
А как земляк-сотоварищ вступить.

Словно знаток всех имен я и отчеств,
Словно живут среди соседей лесных
Гордые ночи моих одиночеств,
Робкие ночи пророчеств моих.

1967

В КАФЕ

Оркестрик играл неумело,
Плыла папиросная мгла,
И сдавленным голосом пела,
Волнуясь и плача, пила.

Не та ли пила, что от века,
Насытившись мясом ствола,
Сближала очаг с лесосокой,
Несла откровенье тепла?

Не та ли пила, что узнала
Тайги безграничную власть,
И повести лесоповала,
И гнуса, гудящего всласть?

Да что там, нужны ли вопросы?
Остались лишь мы на земле
Да тот музыкант длинноносый,
Что водит смычком по пиле.

1967

СОЮЗ

Как дыханье тепла в январе
Иль отчаянье воли у вьючных,
Так загадочней нет в словаре
Однобуквенных слов, однозвучных.

Есть одно — и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетается оно,
Мир с войной и с паденьем величье.

В нем тревоги твои и мои,
В этом И — наш союз и подспорье...
Я узнал: в азиатском заморье
Есть народ по названию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатье,
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи и понятие
Состраданья, бесстрашья, добра,

И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи,—
Все вместилось и мощно сроднилось
В этом маленьком племени И.

И когда в отчужденной кумирне
Приближается мать к алтарю,
Это я,— тем сильнее и всемирней,—
Вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь онемееет,
И я знаю: сойдет с колеи,
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени И.

1967

МОИСЕЙ

Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,

По всем немецким, и советским,
И польским, и иным путям,
По всем печам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям,—

Я шел. И грозен и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газoven
В неопалимой купине.

1967

ПАМЯТНОЕ МЕСТО

Маляр, баварец белокурый,
В окне открытом красит рамы,
И веет от его фигуры
Отсутствием душевной драмы.

В просторном помещенье печи
Остыли прочно и сурово.
Грядущих зол они предтечи
Иль знаки мертвого былого?

Слежу я за спокойной кистью
И воздух осени вдыхаю,
И кружатся в смятенье листья
Над бывшим лагерем Дахау.

1967

ОТСТРОЕННЫЙ ГОРОД

На память мне пришло невольно
Блокады черное кольцо,
Едва в огнях открылось Кельна
Перемещенное лицо.

Скажи, когда оно сместилось?
Очеловечилось когда?
И все ли заживо простилось
До срока Страшного суда?

Отстроился разбитый город,
И, стыд стараясь утаить,
Он просит нас возмездья голод
Едой забвенья утолить.

Но я подумал при отъезде
С каким-то чувством молодым,
Что только жизнь и есть возмездье,
А смерть есть ужас перед ним.

1967

ЗОЛА

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплавав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших барачков.

Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»

1967

живой

Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.

Над ним, на зеленом просторе,
Как за городом — корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,
Творил он из тысяч историй,
И снять не успел он леса.

Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.

И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвою,
Грядущее жаждет былого,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живет для живого,
Для смерти живет неживой.

1967

ПОДРАЖАНИЕ МИЛЬТОНУ

Я — начало рассказа
И проказа племен.
Адским пламенем газа
Я в печи обожжен.

Я — господняя бирка
У земли на руке,
Арестантская стирка
В запредельной реке.

Я — безумного сердца
Чистота и тщета.
Я — восторг страстотерпца,
Я — молитва шута.

1967

КОЧЕВНИКИ

Разбранил небожителей гром-богохульник,
Облака поплыли голова к голове,
А внизу, одинокий, ни с кем не в родстве,
Загорелся багульник, забайкальский багульник
Синим с пурпуром пламенем вспыхнул в траве.

Говорят мне таежные свежие травы:
«Мы, кочевников племя, пойдем сквозь года
Неизвестно когда, неизвестно куда.
Ничего нам не надо, ни богатства, ни славы,
Это мудрость — уйти, не оставив следа.

Полиняет игольчатый мех на деревьях.
Кто расскажет насельникам дикой земли,
Что и мы здесь когда-то недолго росли?
Мы — кочевников племя. Кто же вспомнит в кочевьях,
Что багульника пепел рассыпан вдали?»

1967

УРОЧИЩЕ

Там, где жесткая Сибирь
Очарована нирваной,
Есть буддийский монастырь
Оловянно-деревянный.

Кто живет на том дворе,
И какие слышат клятвы
И молитвы на заре
Маленькие бодисатвы?

Там живут среди живых
Скорбно мыслящие будды,
И сжимаются у них
Коронарные сосуды.

Что им будущего храм?
Что им пыльный хлам былого?
Жаль им только старых лам,
Растерявших мысль и слово.

И на небе мысли нет:
Там, с безумьем оробелым,
Черный цвет и серый цвет
Двигутся на битву с белым.

Не вникают старики
В эти бранные тревоги,
И тускнеют от тоски
Металлические боги.

1967

СВИРЕЛЬ ПАСТУХА

В горах, где под покровом снега
Сокрыты, может быть, следы
Сюда приставшего ковчега,
Что врезался в гранит гряды,

Где, может быть, таят вершины
Гнездовье допотопных птиц, —
Есть электронные машины
И ускорители частиц.

А ниже, где окаменели
Преданья, где хребты молчат,
Пастух играет на свирели,
Как много тысяч лет назад.

Познавшие законы квантов
И с новым связанные днем,
Скажи, глазами ли гигантов
Теперь на мир смотреть начнем?

Напевом нежным и горячим
Потрясены верхи громад,
И мы с пастушьей дудкой плачем,
Как много тысяч лет назад.

1967

РАЗМЫШЛЕНИЯ В СПЛИТЕ

Печальны одичавшие оливы,
А пальмы, как паломники, безмолвны,
И медленно свои взметают волны
Далмации корсарские заливы.

В проулочках — дыханье океана,
Туристок ошалелых мини-юбки,
И реют благовещенья голубки
Над мавзолеем Диоклетиана.

Но так же, как на площади старинной,
Видны и в небе связи временные,
И спутников мы слышим позывные
Сквозь воркованье стаи голубиной.

Давно ли в памяти живет совместность
Костра — с открытием, с подвигом — расстрела,
С немудрую лисой — лозы незрелой?
Давно ль со словом бьется бессловесность?

Давно ли римлянин грустил державно?
Давно ль пришли авары и хорваты?
Мы поняли — и опытом богаты,
И горечью, — что родились недавно.

Мы чудно молоды и простодушны.
Хотя былого страсти много значат, —
День человечества едва лишь начат,
А впереди синееет путь воздушный.

1968

РАЗМЫШЛЕНИЯ В САРАЕВЕ

Мечеть в Сараеве, где стрелки на часах
Магометанское показывают время,
Где птицы тюркские — в славянских голосах,
Где Бог обозначает племя,
Где ангелы грустят на разных небесах.

Улыбка юная монаха-босняка
И феска плоская печального сефарда.
Народы сдвинулись, как скалы и века,
И серафимский запах нарда
Волна Авзонии несет издалека.

Одежда, говоры, базары и дворы
Здесь дышат нацией, повсюду вавилоны,
Столпотворения последние костры.
Иль не един разноплеменный
Сей мир, и все его двуногие миры?

На узкой улице прочел я след ноги
Увековеченный, — и понял страшный принцип
Столетия нашего, я услышал шаги
И выстрел твой, Гаврила Принцип,
Дошедшие до нас, до тундры и тайги.

Когда в эрцгерцога ты выстрел произвел,
Чернорубашечный поход на Рим насытил
Ты кровью собственной, раскол марксистских
школ

Ты возвестил, ты предвосхитил
Рев мюнхенских пивных и сталинский глагол.

Тогда-то ожили понятие вождей,
Камлание жреца — предвиденья замена,
Я здесь, в Сараеве, почувствовал больней,
Что мы вернулись в род, в колено,
Сменили стойбищем сообщество людей...

Всегда пугает ночь, особенно в чужом,
В нерусском городе. Какая в ней тревога!
Вот милицейские машины за углом,
Их много, даже слишком много,
И крики близятся, как равномерный гром.

Студенты-бунтари нестройный режут круг
Толпы на площади, но почему-то снова
К ней возвращаются. Не силу, а недуг
Мятежное рождает слово,
И одиноко мне, и горько стало вдруг.

1. ПРИГОРОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Деревья движутся вслепую
Из мрака на зеленый свет,
И я внимательно рисую
Их групповой портрет.

Опасливых провинциалов,
Тревожит их, как трудный сон,
Новозастроенных кварталов
Огни, стекло, бетон.

Как человеческие руки,
Их ветви в темноте густой
Свидетельствуют о разлуке
С восторгом и мечтой.

Сперва казалось им побочным
Их отречение от надежд,
Их приобщенье к правомочным
Недвижностям невежд.

Зачем на них смотрю я с болью
И сострадаю все живей
Ожесточенному безволю
Опущенных ветвей?

2. УЛИЦА У КАНАЛА

«Импорт-экспорт». «Врач». «Ван Гутен». «Ткани».
«Амстердамско-Роттердамский банк».
И среди фамилий и названий —
Буквы на дверях: «Дом Анны Франк».

Крепок дом и комнаты неплохи.
Снимки отблеставших кинозвезд.
Апокалипсис моей эпохи,
Как таблица умноженья, прост.

Звезды на стене, а ночь беззвездна
И не смеет заглянуть сюда.
Доченька, уснуть еще не поздно,
Чтобы не проснуться никогда.

Увядает в роще елисейской
Дерево познания и добра,
А на почве низменной, житейской,
Начинается его пора.

Нелегко свести с концом начало.
Жизнь есть жизнь и деньги любят счет.
Вдоль дверей течет вода канала.
Знает ли, куда она течет?

3. ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ

Как римляне времен упадка,
Еще не подводя итоги,
Деревья увядают сладко,
И признаки правопорядка —
Их красно-золотые тоги.

Еще не знают, что недуга
Свидетельство — листья багрянец,
Что скоро их повалит вьюга,
Что в пламя, обвязавши туго,
Их бросит кельт или германец.

Не ведают, что сами пчелы
Свой мед бессильно обесценят,
Что дики будут новоселы,
Когда Октябрь на череп голый
Корону Августа наденет.

4. НОЧНОЙ ДОЗОР

Развей безверие больное,
Но боль ума не утиши,
Ночной дозор моей души,
Мое прозрение ночное!

На площади не убран сор.
Бездомно каменеют души.
Зачем становятся все глуше
Твои шаги, ночной дозор?

Откуда страх у этих множеств —
От честных истин стать тусклей?
Не может в мире быть ничтожеств,
Родившихся от матерей!

Не бойтесь жить междуусобьем
Святынь, заветов и сердец,
Быть образом и быть подобьем,
Когда прекрасен образец!

Не смейтесь над высоким слогом:
Правдовзыскующая речь
Должна, сама сгорая, жечь,
По людным двигаясь дорогам.

1968

СТЕПНАЯ ТРАВА

Песок течет, как время,
А зной звенит, как влага,
Там, где овечье племя
Молчит на дне оврага,

Где пастухи степные
У ивовой ограды
Вдруг вспомнят племенные
Забутые обряды.

Траве немного надо:
Густая общность многих,
Она сама — как стадо
Существ зеленоногих.

Когда летит в лазури
Рассветный ветер быстрый,
На их зеленой шкуре
Росы он гасит искры.

И может быть, степные
Вот эти овцеводы —
Суть листья травяные
Неведомой породы.

Как небосвод — с долиной,
Как холм песчаный — с далью,
Мы связаны единой
Надеждой и печалью.

1968

ТЕЛЕГА

И. Л. Лиснянской

К новым шумам привыкли давно уже сосны:
Звон бидонов на велосипеде,
Гул вагонов и смех в «Москвиче» иль в «Победе»,
Но внезапно — скрипучее эхо трагедий,
Этот эллинский грохот колесный.

На заре нашей жизни такие ж телеги
Так же пахли туманом и сеном
И не знали о чувстве травы сокровенном,
Деревенские, царские, с грузом военным,—
Унижали цветы и побегии...

Удивление сосен пред шумом тележным
И во мне, очевидно, проснулось,
И душа среди листьев зеленых очнулась,
И вернулась к прошедшему, и содрогнулась
Содроганием горьким и нежным.

Все, что сделал хорошего, стал вспоминать я,—
Оказалось, хорошего мало,
А дурное росло и к траве прижимало,
И у листьев найти я пытался начало
Терпеливого жизнеприятья.

Почему, я подумал, всегда безоружна
Многоликая клейкая мякоть,
А со мною поет и печалится дружно,
Почему мне так нужно, так радостно нужно,
Так позорно не хочется плакать?

1968

ГОНЧАР

Когда еще не знал я слóва
С его отрадой и тоской,
Богов из вещества земного
Изготавлил я в мастерской.

Порой, доверившись кувшину,
Я пил с собой наедине,
Свою замешивая глину
Не на воде, а на вине.

Не ведая духовной жажды,
Еще о правде не скорбя,
Я вылепил тебя однажды,
Прекраснобедрая,— тебя!

Но свет и для меня зажегся
С потусторонней высоты,
И, потрясенный, я отрекся
От рукотворной красоты.

Так почему же зодчий мира,
Зиждитель влаги и огня,
Глазами моего кумира
Все время смотрит на меня?

1969

КИПАРИС

За листвой, зеленеющей в зное,
Дышит море, и бледен закат.
Я один, но со мной — эти двое:
Воробьи в кипарисовой хвое
Серым тельцем блаженно дрожат.

Хорошо моим братикам младшим
В хрупкой хижине, в легкой тени,
И акация ангелом падшим
Наклоняется к иглам увядшим,
И, смутясь, ей внимают они.

Не о них ли душа укололась?
Не таит ли в себе кипарис
Твой тревожный, тревожащий голос
И улыбку, в которой веселость
И восточная горечь слились?

Ведь и я одарен увяданьем,
И на том эти ветви ловлю,
Что они пред последним свиданьем
С грустной завистью и ожиданьем
Смотрят: вправду ль живу и люблю?

1969

ПТИЦЫ ПОЮТ

Душа не есть нутро,
А рев и рык — не слово,
А слово есть добро,
И слова нет у злого.

Но если предаем
Себя любви и муке,
Становятся добром
Неведомые звуки.

Так, в роще, где с утра
Сумерничают ели,
Запели вдруг вчера
Две птицы. Как запели!

Им не даны слова,
Но так они певучи —
Два слабых существа,—
Что истиной созвучий,

Сквозь утренний туман,
Всю душу мне пронзили
И первый мой обман,
И первых строк бессилье,

И то, чем стала ты,—
Мой свет, судьба и горе,
И жажда правоты
С самим собой в раздоре.

1969

Как ты много курила!
Был бессвязен рассказ.
Ты, в слезах, говорила
То о нем, то о нас.

Одинокие тучки
Тихо шли за окном.
Ты тряслась, как в трясушке,
На диване чужом.

Комнатенку мы сняли,
Заплатили вперед,
Не сказали, но знали,
Что разлука придет,

Что на лифте взберется
На десятый этаж,
И во всем разберется,
И себя ты предашь,

И со мною не споря,
Никого не виня,
С беспощадностью горя
Ты уйдешь от меня.

1969

УЗНАВАНИЕ

Подумал я, взглянув на белый куст,
Что в белизне скрывается Ормузд:

Когда рукой смахнул я снег с ветвей,
Блеснули две звезды из-под бровей.

Подумал я, что тихая сосна
В молитвенный восторг погружена:

Когда рукой с нее смахнул я снег,
Услышал я твой простодушный смех.

Я узнаю во всем твои черты.
Так что же в мире ты и что не ты?

Все, что не ты,— не я и не мое,
Ненебо, неземля, небытие,

А все, что ты,— и я, и ты во мне,
И мир внутри меня, и мир вовне.

1969

ЗАКАТ В АПРЕЛЕ

Пред вечным днем я опускаю вежды.

Баратынский

Был он времени приспешник,
С ним буянил заодно,
А теперь утихомирлся,—
Сквозь безлиственный орешник,
Как раскаявшийся грешник,
Грустный день глядит в окно.

Травяные смолкли речи,
Призадумались стволы,
Запылав, закат расширился,
И уносится далече,
Исцеляя от увечий,
Запах почвы и смолы.

Пусть тревоги вековые —
Наш сверкающий удел,
А кошелки мать-и-мачехи,
Золотисто-огневые,
Раскрываются впервые,
И впервые мир запел.

Снова жгучего прозренья
Над землей простерта сень,
Каин, Авель — снова мальчики,
Но в предчувствии боренья
Заурядный день творенья
Вновь горит, как первый день.

1969

НА ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

Не видел сам, но мне сказали,
Что, уведя за косогор,
Цыганку старую связали
И рядом развели костер.

Туман одел передовую
И ту песчаную дугу,
Где оборотни жгли живую
На том, не нашем берегу.

А я, покуда мой начальник
Направился в политотдел,
Пошел к тебе сквозь низкий тальник,
Который за ночь поредел.

В избе, в больничном отделенье,
Черно смотрели образа,
И ты в счастливом удивленьи
Раскрыла длинные, оленьи,
С печальным пламенем глаза.

Мы шли по тихому Заволжью,
И с наступленьем темноты
Костер казался грубой ложью,
А правдой — только я и ты.

Но разве не одной вязанкой
Мы, люди, стали с давних пор?
Не ты ли той была цыганкой?
Не я ль взошел на тот костер?

Не на меня ль ложится в мире
За все, чем болен он, — вина?
Мы оба на чужой квартире,
В окне — луна, в окне — война.

1969

СТРАХ

Поднимается ранний туман
Над железом загрязивших крыш, —
Или то не туман, а дурман,
От которого странно грустишь?

Ты и шагу не можешь ступить,
Чтоб на лавочку сесть у окна,—
Или хочется что-то забыть,
А для этого память нужна?

Иль вселенной провидишь ты крах
И боишься остаться одна,
Иль божественный чувствуешь страх,
А для этого смелость нужна?

Все погибнет — и правда, и ложь —
В наступающем небытии,
Но боишься, что ты не умрешь,
Ибо гибели нет для любви.

1969

ЮЖНЫЕ ЦЕРКВИ

Есть Углич и Суздаль,
Чьи храмы прославлены,
Полно ли там, пусто ль,—
А в вечность оправлены.

Как музыка роци,
Их многоголосие...
Есть церкви попроще
У нас, в Новороссии.

Не блещут нарядом,
Как мазанки — синие,
С базарами рядом
Те южные скинии.

Их камни в тумане
Предутреннем нежатся,
И в карты цыгане
За садиком режутся.

Как снасть рыболова,
Как труд виноградаря,
Здесь движется слово,
Лаская и радуя.

И нет здесь ни древа
Царей и ни древности,—
Лишь святость напева,
Лишь воздух душевности.

И лирника лира
Жужжит, сердцу близкая,
И пахнет не мирра —
Трава киммерийская.

1969

СУД

Понимая свое значенье,
Но тщеславием не греша,
В предварительном заключеньи
Умирает во мне душа.

Умирает, и нет ей дела
До кощунственного ума.
Но когда ж разверзнется тело —
Государственная тюрьма?

Производится ли дознание,
Не дают ли ей передач,—
Помогает ей жить сознание,
Что по ней есть печаль и плач,

Что прекрасен многоголосый
Мир зеленый и голубой...
Но идут ночные допросы,
Продолжается мордобой,

И пора из тюрьмы телесной
Ей на волю выйти в гробу.
Что решит Судия небесный?
Как устроит ее судьбу?

Дальше ада, но ближе рая
Возвышается перевал.
Кто же к мертвой душе воззвал?
«Это Я по тебе, родная,
Горько плакал и тосковал».

1969

В НАЧАЛЕ ПОРЫ

Если верить молве,—
Мы в начале поры безотрадной.
Снег на южной траве,
На засохшей лозе виноградной,
На моей голове.

Днем тепло и светло,
Небеса поразительно сини,
Но сверлит как сверло
Мысль о долгой и скудной пустыне,
На душе тяжело.

И черны вечера,
И утра наливаются мутью.
Плоть моя — кожа.
Но чего же я жду всю сутью,
Всю болью ядра?

1969

ОДЕССКИЙ ПЕРЕУЛОК

Акация, нежно желтея,
Касается старого дворика,
А там, в глубине,— галерея,
И прожитых лет одиссея
Еще не имеет историка.

Нам детство дается навеки,
Как мир, и завет, и поверие.
Я снова у дома, где греки,
Кляня почитателей Мекки,
В своей собирались гетерии.

Отсюда на родину плыли
И там возглавляли восстание,
А здесь нам иное сулили
Иные, пьянящие были,
Иных берегов очертания.

А здесь наши души сплетались,
А здесь оставались акации,
Платаны легко разрастались,
Восторженно листья братались,
Как часто братаются нации.

О кто, этих лет одиссея,
За нитью твоею последует?
Лишь море живет, не старея,
И время с триерой Тезея,
Все так же волнуясь, беседует.

1969

ОДЕССКАЯ СИНАГОГА

Обшарпанные стены,
Угрюмый, грязный вход.
На верхотуре где-то
Над скинией завета
Мяучит кот.

Раввин каштаноглазый —
Как хитрое дитя.
Он в сюртуке потертом
И может спорить с чертом
Полушутя.

Сегодня праздник Торы,
Но мало прихожан.
Их лица — как скрижали
Корысти и печали...
И здесь обман?

И здесь бояться надо
Унылых стукачей?
Шум, разговор банальный,
Трепещет поминальный
Огонь свечей.

Но вот несут святыню —
И дрогнули сердца.
В том бархате линиялом —
Все, ставшее началом,
И нет конца!

Целуют отрешенно,
И плача, и смеясь,
Не золотые слитки,
А заповедей свитки,
Суть, смысл и связь.

Ты видишь их, о Боже,
Свершающих круги?
Я только лишь прохожий,
Но помоги мне, Боже,
О, помоги!

1969

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЕГИПТА

Гладит бога, просит, чтоб окрепла,
Женщина, болящая проказой,
Но поймет ли, что такое лепра,
Этот идол, крупный и безглазый?

Воздух пахнет знойно, пыльно, пряно,
Горяча земля и нелюдима,
И смеются люди каравана,
По всему видать,— из Мицраима.

Только мальчик в стираном хитоне
Слез с верблюда на песок сожженный,
И его прохладные ладони
Ласково коснулись прокаженной.

Он сказал: «Не камню истукана —
Это Мне слова ее молений».
И пред Богом люди каравана
Радостно упали на колени.

1969

* * *

Листья бука, побитые градом,
На меня не смотрите с укором,
Листья бука, побитые градом,—
Есть судьба и пожестче.

Я б хотел умереть с вами рядом,
Умереть вон за тем косогором,
Я б хотел умереть с вами рядом
В той кизиловой роще.

1970

МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ

Висит ледяная глыба,
Обвалом грозит зима
Владимирского пошиба
И суздальского письма.

Что думает заключенный,
Какой он чувствует век
В тюрьме, где творят иконы
Рублев или пришлый грек?

Вздыхает князек опальный,
Состарен стражей двойной
За насыпью привокзальной,
За грязной, длинной стеной.

Фельдмаршал третьего рейха
Сидит на скудном пайке,
И чудной кисти еврейка
Глядит на него в тоске.

А более горький пленник,
На тех же ранен фронтах,
Ее больной соплеменник,
Ее живой современник,
Всею болью пишет впотьмах.

1970

ВОСКРЕСНОЕ УТРО В ЛЕСУ

Где, кузнечики, прятались вы до утра?
В той соломенной, что ли, сторожке?
И не вы ли, серебряных дел мастера,
Изготовили травам сережки?

Всюду птичьих базаров ганзейский союз,
Цехи тварей лесных и растений,
И, кустарь средь кустарников, я не боюсь
Ни чужой и ни собственной тени.

Предвечерние звоны незримо зовут,
Стали птицы и листья душевней.
Все мне кажется: входит ремесленный люд
Под веселые своды харчевни.

Все мне кажется: выются былинки у губ
То с присловьем, то с шуткою хлесткой,
И толкует о тайном сообществе дуб
С молодой белошвейкой-березкой.

1970

ПОДОБИЕ

И снова день, самовлюбленный спорщик,
Вскипает в суете сует,
И снова тень, как некий заговорщик,
Тревожно прячет зыбкий след,
Вновь над прудом склонился клен-картежник,
В воде двоится лист-валет...
Да постыдись ты наконец, художник,
С предметом сравнивать предмет!
Тому, кто помышляет о посеве,
В подобье надобности нет,
Как матери, носящей семя в чреве,
Не нужен первенца портрет.

1970

* * *

Я покину лес кудрявый,
Свет его полян,
Превращусь, как эти травы,
В розовый туман.
Огорчат меня удачи,

Рассмешат меня ошибки,
И в другой уклад
Унесу с собой горячий,
То бестрепетный, то зыбкий,
Твой прощальный взгляд.

1970

ЛИРА

От незрячего Омира
Перешла ко мне моя
Переимчивая лира —
Двуединая змея.

Никого не искушая
И не жая никого,
Вспоминает, воскрешая,
Наше светлое родство.

И когда степняк иль горец
Жгли судьбу в чужом краю,
Робко трогал стихотворец
Лиру — добрую змею.

И она повествовала
Не про горе и беду,
А про то, как жизнь вставала,
Как готовили еду,

Как пастух огонь похитил,
Возмутив святой чертог,
Наши песни предвосхитил,
Нашей болью изнемог,

Чтобы не было поступка
Не для блага бытия,
Чтоб мудра был голубка,
Чтоб добра была змея.

1971

ПОДРАЖАНИЕ КАБИРУ

Я попал уловителю в сеть,
Но ячейки порвал я плечом.
Я хочу ничего не хотеть,
Я хочу не просить ни о чем.

Ты один, Ты один у того,
У кого никого, никого,
Но всего, но всего господин
У кого Ты один, Ты один.

1970

СЕЗАНН

Опять испортил я картину:
Не так на знойную равнину
Карьер отбрасывает тень.
Пойду, стаканчик опрокину,
Трухлявый, старый пень.

А день какой заходит в мире!
У землекопов в их трактире
Неспешно пьют и не хитрят.
Я с детства не терпел цифири,
И вот — мне шестьдесят.

Нужна еще одна попытка:
Свет обливает слишком жидко
Два яблока, что налились.
Художник пишет, как улитка
Свою пускает слизь.

Сын пекаря Иоахима
Мне говорит: «Непостижимо
Полотен ваших колдовство».
Я, дурень, плачу... Мимо, мимо,
Нет рядом никого!

Ко мне, — прости меня, Вергилий, —
Как слезы к горлу, подступили
Все неудачи долгих лет.
«Довольно малевать мазиле!» —
Кричат мне дети вслед.

Я плачу. Оттого ли плачу,
Что не могу решить задачу,
Что за работою умру,
Что на земле я меньше значу,
Чем листик на ветру?

Жизнь — штука страшная. Но в кисти
Нет рабства, низости, корысти.
Взгляни, какая вышина,
Каким огнем бушуют листья,
Как даль напряжена!

1971

БЕЛЫЙ ПЕПЕЛ

А был ли виноват
Небесный свод горелый,
Когда его пределы
Захватывал закат?
Смотри: как пепел белый
Снега кругом лежат.

Созвучием стихов
По энтропии прозы
Ударили морозы,
И тихий день таков,
Как белизна березы
На белизне снегов.

Но я отверг устав
Зимы самодовольной,
Мне от снежинки больно:
Она, меня узнав,
Звездой шестиугольной
Ложится на рукав.

1971

УТРЕННИЕ ПОКУПКИ

Весенним ветром вздута,
Покорна и громка,
Мутнеет от мазута
Чеченская река.

Две светлые пичужки
Уставились в нее,—
Как будто для просушки
Развешено белье.

Мостом, почти лубочным,
Иду в седьмом часу:
Хочу купить в молочном
Кефир и колбасу.

У женщин тех окраин,
Я с детства в это вник,
Так резок, так отчаян
И так отходчив крик.

Мне душно. Загрудинный
Я чувствую укол...
Меняются картины:
Я на базар пришел.

Как время нас чарует,
Какой везде уют,
Когда земля дарует,
А люди продают!

Беру у бизнесменки
Редиску и творог.
На родине чеченке
Пусть помогает Бог.

Пусть больше не отправит
Туда, где дни горчат,
Пусть горя поубавит,
Прибавит ей внучат,

Пусть к ней заходит в гости
Невидимым путем...
И вот опять замостье,
Пятиэтажный дом,

И ты передо мною
В гостиничном окне,
Но только не усвою,—
В окне или во мне?

ПОРТРЕТ

Семейный праздник, закипая,
Шумит, сливается с движением весны,
Лишь ты недвижно смотришь со стены,
Непоправимо молодая.

Но, если б ты была жива,
Ужели бы закон свершился непреложный
И, как у прочих, были бы ничтожны
Твои заботы и слова?

Сияет мне как откровенье
Твоей задумчивой улыбки тихий свет,
И если воскресенья мертвых нет,
То наша память — воскресенье.

1971

ОБМАН

Шаман был женщиной. Он скашивал
Сверкающий зрачок,
Грозил кому-то жесткой дланью,
Урчал, угадывал, упрашивал,
Ложился на песок
И важно приступал к камланию.

Предпочитая всем событиям
Наполненность собой,
Достиг он славы громогласной,
Чаруя варваров наитием,
И звонкой ворожкой,
И даже сущностью двуснастной.

Неистовствам отделки тщательной
Внимал в толпе густой,
Ненужный всем стоящим рядом,
Пастух, ничем не примечательный,
Но странно молодой,
Со стариковским жгучим взглядом.

1971

ПОСЛЕ НЕПОГОДЫ

Тихо. Но прошло недавно лихо:
Пень торчит, как мертвая нога,
Серая береза, как лосиха,
Навзничь повалилась на снега.

Скоро лес расчистят и расчислят
И в порядок приведут опять...
Кто-то говорил: «Деревья мыслят».
Но ведь мыслить — значит сострадать,

Это значит — так проникнуть в слово,
Чтоб деянье в нем открылось вдруг,
Это значит — помнить боль былого,
Чтоб понять сегодняшней недуг,

Это значит — не витиевато
Выдумки нанизывать на нить,
А взглянуть на горе виновато
И свой взгляд в поступок превратить.

1972

ПАМЯТЬ

В памяти, даже в ее глубочайших провалах,
В детскую пору иль в поздних годах войны,
В белых, зеленых, сиреневых, — буйных и вялых, —
Вспышках волны,

В книгах и в шумной курилке публичной читальни,
В темных кварталах, волшебном сбегающих в порт,
Где пароходы недавно оставили дальний
Вест или норд,

В школе, где слышались резкие звуки вокзала,
В доме, где прежних соседей никто не зовет, —
Ясно виднеется все, что судьбой моей стало,
Все, что живет.

Здесь отступили ворота от уличной кромки,
Где расстреляли в двадцатом рабочих парней,
Там вводили на бойню, в тот полдень негромкий,
Толпы теней.

Можно забыть очертания букв полустертых,
Можно и море забыть и, забыв, разлюбить,
Можно забыть и живущих, но мертвых, но мертвых
Можно ль забыть?

1972

СПУСК В ГАВАНЬ

Медовый месяц нэпа.
Вечерняя лиловь.
Выходит из вертепа
Усталая любовь.

Порывисто и редко
Дыханье ветерка.
На ней висит горжетка
С головкою зверька.

А вправду ли наряжен
Французский пеньюар?
Подарен иль украден
Массивный портсигар?

Работать в доме тяжело,
И нужен перерыв,
И с каждой затяжкой
Ей легче... Там — обрыв,

И порт, и копошенье
Существ и их теней,
Вдали — кровосмешенье
Звезд и земных огней,

Здесь — листьев тополиных
Замедленный полет,
И в первых брюках длинных
Мальчишка у ворот.

Болезненно и сладко
Душа истомлена,
Все для него загадка:
Порт, звезды и она.

1972

ГОДОВЩИНА АРМЯНСКОГО ГОРЯ

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

Персики в Эчмиадзине
Цветом цветут фиолетовым.
Свод над землею синий,
Как над Синайской пустыней.
Ряса католикоса
Цветом цветет фиолетовым.
Медленно, многоголосо
Звон поминальный вознесся:

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

Страшная годовщина
Страшной народной гибели.
В церкви Эчмиадзина —
Слово Божьего сына.
Поровну мы разделим
Тоненькие опресноки.
Выйдем из храма с весельем,
В поле траву расстелим.

Жертвенного барана
Мы обведем вокруг дерева.
В сердце — вечная рана,
А земля нам желанна.
Все мирозданье в расцвете,
Все непотребное — изгнано,
Только и есть на свете —
Дети, дети, дети,

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

Боже, к твоим коленям
Я припадаю с молением:
Да оживут убиенные
В этом саду весеннем!

В нашем всеобщем храме
Да наслаждаются весело
Всеми твоими дарами!
С нами, с нами, с нами —

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

1972

ПО ДОРОГЕ

Вдоль забора к оврагу бежит ручеек,
А над ним, среди ветвей, мне в ответ
Соловей говорит по-турецки: йок-йок,
Это лучше, чем русское «нет»,

Потому что неточен восточный глагол,
И его до конца не пойдем,
Потому что роскошен его произвол,
И надежда упрятана в нем.

Я не вижу,— каков он собой, соловей,
Что поет на вечерней заре.
Не шарманщик ли в серенькой феске своей
Появился на нашем дворе?

Пахло морем, и степью, и сеном подвод,
Миновало полвека с тех пор,
Но меня мой шарманщик и ныне зовет
Убежать к ручейку за забор.

И когда я теперь в подмосковном бору
Соловья услышал ввечеру,
Я подумал, что я не умру, а замру
По дороге к родному двору.

1972

ПОДЪЕМ

В горах, как благодарный фимиам,
Светло курились облачные дымы.
Деревья поднимались к небесам,
Как недоверчивые пилигримы.

Они бранили горную грозу,
Метель, и град, и камнепад жестокий
И вспоминали, как росли внизу,
Где так привычно следовали сроки.

Они забыли злобу топора
И цепкую пилу лесоповала,
И то, что было ужасом вчера,
В их существе сегодня ликовало.

Но, охраняя каждый свой побег,
Брели наверх все строже, все упрямей,
Чтобы обнять первоначальный снег
Своими исхудалыми ветвями.

1972

АРМЯНСКИЙ ХРАМ

Здесь шахиншах охотился с гепардом
И агарянин угрожал горам.
Не раз вставало горе над Гегардом,
Мы войско собирать не успевали
И в камне прорубили крепость-храм.

И кочевали мы, и торговали,
И создавали, каясь и греша,
Уже самих себя мы забывали
И только потому не каменели,
Что в камне зрела и росла душа.

1972

* * *

Еще и плотью не оделись души,
И прах — травой, и небо — синевой,
Еще вода не отошла от суши,
И свет был слеп во тьме довековой,
Еще неизреченным было слово,
И мысль спала в тиши предгрозовой,
И смерть не знала теплоты живого,
А я уже тебя любил.

И боль моя свою постигла смелость,
И свет прозрел во тьме, и твердь земли,
От влаги отделясь, травой оделась,
И души плоть впервые обрели,
И мысль проснулась в мирозданье новом,
И время, уходящее вдали,
Увидела она и стала словом
И мерюю всего, что есть.

1972

КОЧЕВОЙ ОГОНЬ

Четыре как будто столетья
В империи этой живем.
Нам веют ее междометья
Березкою и соловьем.

Носили сперва лапсердаки,
Держали на тракте корчму,
Кидались в атаки, в бараки,
Но все это нам ни к чему.

Мы тратили время без смысла
И там, где настаивал Нил,
Чтоб элина речи и числа
Левит развивал и хранил,

И там, где испанскую розу
В молитву поэт облачал,
И там, где от храма Спинозу
Спесивый синклит отлучал.

Какая нам задана участь?
Где будет покой от погонь?
Иль мы — кочевая горючесть,
Бесплотный и вечный огонь?

Где заново мы сотворимся?
Куда мы направим шаги?
В светильниках чьих загоримся
И чьи утеплим очаги?

1973

КОМИССАР

Торжествовала власть, отбросив
И опрокинув Колчака,
И в Забайкалье стал Иосиф
Работать в органах Чека.

Он вызывал к себе семейских,
Допрашивал, и подлый страх
Внушал им холодок в еврейских,
Печально-бархатных глазах.

Входил он в души староверок
Предвестием господних кар,
Молодцеватый недомерок,
Длинноресничный комиссар.

Мольбы выслушивал устало,
Сжимая кулачок у рта.
Порой губкомовцев смущала
Его святая простота.

Каким-то попущеньем странным
Он выжил. И на склоне дней
В Сибирь приехал ветераном
На полстолетний юбилей.

В глазах — все той же грусти бархат,
И так же, обхватив сучок,
Туда, где свет в тайге распахнут,
Трясаясь, глядит бурундучок.

1973

ХАЙМ

Там, где мчалась дружина Гэсэра,
А недавно — жандармский полковник,
Где и ныне в избе старовера
Мы найдем пожелтевший часовник,
Где буддийские книги бурята
Разбрелись по аймакам глухим, —
Серебристо-светла, торовата,
Есть река по названью Хайм,

Будем верить преданьям не слишком:
То ль, тропой возвращаясь таежной,
Да притом, говорят, с золотишком,
Был он голью зарезан острожной,
То ль трактир содержал он на тракте,
Беглых каторжников укрывал,
И за свой поплатился характер...
Есть река и Хайм-перевал.

Вечный дух пребывает в кумирне,
В древнем свитке и в крестике малом.
Хорошо ль тебе, Хаим, в Сибири
Течь рекой и стоять перевалом?
Что мне светит в серебряных всплесках?
Иль в тайге улыбается Тот,
Кто смутил мудрецов бенаресских
И в пустыне хранил свой народ?

1973

ЗАВОЕВАТЕЛЬ

О это море, колыбель изустных
Повествований, хроник простодушных,
О Понт Эвксинский после захоластных,
Степных местечек и закатов душных!
Великолепен мир, когда он целый,
Хотя и составной, и виден глазу
Не в перекрестье ниточек прицела,
А широко, со всех сторон и сразу.

Мне хорошо с тобою, ветер соленый,
С Европой настоящей и не старой,
С атлантами, поднявшими балконы,
С театром у приморского бульвара.
По улицам, бегущим вниз, иду я
Наверх, легко дышу нектаром юга,
И, каменного герцога минуя,
Я приближаюсь к центру полукруга.

Строенья в стиле греческих колоний,
Дух Генуи в стенах полуразвалин,
И тот же известняк, что в Вавилоне,—
Он так же темен, порист и печален.

Бедны полупустые магазины,
Но где-то есть, я слышал, барахолка.
Все по душе мне: шумные румыны,
У церкви — старенькая богомолка...

Фурункулезный, круглый ростбиф-наци,—
Мне обер дал сегодня увольнение.
День без придирок, желчных lamentаций
И ожиданья трезвое волнение.
С фамилией, на Вавилон похожей,
Какой-то русский написал занятно
О здешних нравах... Кто же я? Прохожий?
Завоеватель? Мутно, непонятно,

И если правду говорить, трусливо,
Ничтожно я живу. И город вскоре
Окончится, и слева, вдоль обрыва,
Рассердится невидимое море.
А справа — кладбище, тропа к спасенью.
Спят мертвые, убитые не нами.
Надгробья у стены, под мирной сенью,
Испещрены чужими именами.

Я не могу прочесть, но я их знаю,—
Те буквы, по которым наш Спаситель
Читать учился в мастерской отцовской,
А мать месила тесто и порою
Его кудрей касалась локотком.
О горе нам, в злодействе позабывшим,
Что убивать нельзя живых, покуда
О мертвых память не истреблена!

1973

ОТПУСК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Вкруг столбов намотала сугробы поземка,
Смутно, дробно, сквозь сумрак мерцает село.
Ты подумай, куда занесло тебя. Семка,
Ах, куда занесло!

«Дуглас» вырвал тебя из кронштадтской блокады,
Сутки мерзнет на розвальнях твой чемодан,
Ты шагаешь за ним, впереди — вислозадый,
Дряхлый мерин Будан.

То ли юрты стоят, то ли избы-хибары?
То ли варится вихря и гари навар?
Там вдали — твои братья по вере хазары
Иль становья болгар?

Что же тянет тебя в сумрак снежного тыла?
Понимаешь ли сам, где родной твой очаг?
В польской пуще застыла зола, и застыло
Время в русских печах.

Ах, как много в степи ветра, холода, злобы!
Это сыплется древний иль нынешний снег?
Вкруг столбов намотала поземка сугробы,
И далек твой ночлег.

1973

ПОСРЕДИНЕ ЗАПРЕТКИ

Я прочел сохраненные честью и чудом листы —
арестанта записки:
«В этом мире несчастливы
только глупцы и скоты»,—
вот завет декабристский.

Я пройду по земле,
как проходит волна по песку,
поглотив свою скорость.
Сам довлея себе, я себя самого извлеку,
сам в себе я сокроюсь.

Мне, кто внемлет владыке времен,
различать недосуг —
где потомки, где предки.
Может быть, я умру хорошо, и убьют меня вдруг
посредине запретки.

1973

ОСТРОВОК

Длинная песчаная гряда,
Синяя байкальская вода,

Костерок в таежной тишине,
Каторжанский омуль на рожне.

А напротив — зелен островок,
Не широк, зато золотобок.

Сколько лиственниц на нем растет!
Или это, свой прервав полет,

Птицы собрались на островке,
Да застряли в золотом песке.

Улететь не могут никуда,
Стерегут их небо и вода.

1974

ОЗЕРО

Стекло воды озерной
Напоминает мне
Стекло трубы подзорной,
Сокрытой в глубине.

Ее приставил к глазу
Вожак подземных сил,
И по его приказу
Военный стан застыл.

Где темень словно камень,
А камень старше мглы,
Базальтовая рамень,
Порфирные стволы,—

Увидел полководец,
Когда смотрел в трубу,
Избенку, огородец,
Песчаную тропу.

Она вела куда-то,—
Быть может, в те края,
Где вертоград заката,
Где башня соловья.

Земля была как чудо,
И он смотрел туда,
Где без тебя мне худо,
Где мне с тобой беда.

1974

ВЕЧЕРЕЕТ

Темный дуб достигает лазури,
Но земля ему стала милей.
Как сонет, посвященный Лауре,
Он четырнадцать поднял ветвей.

Он ведет на заветном и звонком
Языке свой спокойный дневник:
«Был я утром сегодня ребенком,
Вечереет — и вот я старик».

1974

В ГОЛУБОМ СОСУДЕ

В лесу июля, в голубом сосуде,
Подробно, точно вычерчены ели,
И только люди потому и люди,
Что их угадываешь еле-еле.

Как хорошо, что был Творец неловок,
Что не был увлечен задачей мелкой
И свой небрежный, свежий подмалевок
Он не испортил тщательной отделкой.

1974

* * *

С. Б. Рассадину

В этом городе южном я маленький школьник,
Превосходные истины тешат мой слух,
Но внутри меня шепчет какой-то раскольник,
Что рисуются буквы, а светится дух.

Страстно спорят на говоре местном южане,
Но иные со мной существа говорят:
Словно вещая птица из древних сказаний,
Прилетел небывалого цвета закат.

Новым, чистым дыханьем наполнился будень,
Обозначилось все, что роилось вдали,
Лодки на море — скопище старых посуды —
Превратились в мерцающие корабли.

Стало вольностью то, что застыло темницей,
Свет зажегся на стертой скрижали земной,
Все иду, все иду за нездешнею птицей,
А она все летит и летит надо мной.

1975

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Покуда всемирный Фердыщенко
Берет за трофеем трофей,
Уже ты на лавры не заришься,
А только бессмысленно старишься,
Мещанка, острожница, нищенка
Дворянских, мужичьих кровей.

Куда как ликующей мнимости
Слабей непреложность твоя,
А все ж норовишь ты упрочиться,
То плакальщица, то пророчица,
То ангел из дома терпимости,
То девственный сон бытия.

Строка тем косней, чем мгновеннее,
А крылья — неспешной даны.
Лишь в памяти зреет грядущее,
Столь бедно и глухо растущее,
И ты уничтожишь забвение
Дыханьем вселенской весны.

1975

* * *

Когда болезненной душой устану
От поздней и мучительной любви,
Под старость лет пушусь по океану,
 Как Иегуда Галеви.

Заблудится ль корабль и рухнет в бездну,
К разбойникам я попаду ли в плен,
В толпе ли пилигримов я исчезну,
 В пыли, у глинобитных стен?

Я твердо знаю, что исчез я прежде,
Что не было меня уже тогда,
Когда я малодушно жил в надежде
 На близость Страшного суда,

А между тем служил я суесловью,
Владея немудреным ремеслом,
И слово не хотело стать любовью,
 Чтобы остаться, как псалом.

1975

ВРЕМЯ

Разве не при мне кричал Исая,
Что повергнут в гноище завет?
Не при мне ль, ахейцев потрясая,
Сказывал стихи слепой аэд?

Мы, от люльки двигаясь к могиле,
Думаем, что движется оно,
Но, живущие и те, кто жили,—
Все мы рядом. То, что есть Давно,

Что Сейчас и Завтра именуем,—
Не определяет ничего.
Смерть есть то, чего мы не минуем.
Время — то, что в памяти мертво.

И тому не раз я удивлялся,
Как Ничто мы делим на года;
Ангел в Апокалипсисе клялся,
Что исчезнет время навсегда.

1975

* * *

Господин Весенний Ветер,
Я вас помню молодым,
Вы беседовали весело
С госпожой Акацией.
В нашем городе стояли
Иностранные суда,
И взметались, и сияли
Беспокойные года.

Господин Весенний Ветер,
Вот и стал я стариком,
И давно сожгли захватчики
Госпожу Акацию.
Словно камни под водою —
Онемелые года.
Та, что здесь всегда со мною,
Не вернется никогда.

1976

ИЗ ТЕТРАДИ

Но только тот, кто мыслью был наставлен,
Кто был рукоположен красотой,
Чей стих, хотя и на бумаге правлен,
Был переписан из тетради той,

Где нет бумаги, букв и где страницы
Незримы, хоть вещественней кремня,—
Увидел неожиданно зеницы,
Исторгшие на землю столп огня.

1976

КРИК ЧАЕК

Семейство разъевшихся чаек
Шумит на морском берегу.
От выкриков тех попрошаек
Прийти я в себя не могу.

Мне вспомнилось: мы хоронили
Жену сослуживца. Когда
Ее закопали в могиле,
Был вечер, а мы и беда

Вступили в автобус последний,
И тут, как проказа, возник
Из воплей, проклятий, и сплетни,
И ругани смешанный крик.

То стоя кладбищенских нищих,
Хмельных стариков и старух,
Кривых, одноногих, изгнивших,
Блудила и думала вслух...

Земля, человечья стоянка,
Открыла ты нам, какова
Изгаженной жизни изнанка,
Где Слово сменили слова.

Во тьме остановки конечной
Уже различаем, какой
Вращается двигатель вечный,
А движет им вечный покой.

1976

* * *

Когда в слова я буквы складывал
И смыслу помогал родиться,
Уже я смутно предугадывал,
Как мной судьба распорядится,

Как я не дорасту до форточки,
А тело мне сожмут поводья,
Как сохраню до смерти черточки
Пугливого простонародья.

Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Свое мятежное безволие.

Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зиждительная, неземная,

И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.

1976

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Новую жизнь я начну с понедельника,
Сброшу поклажу ненужных забот,
Тайная вечера зимнего ельника
К делу и жертве меня призовет.

Все, что душа так испуганно прятала,—
Тихо откроет, по-детски проста,
Первосвященника и прокуратора
Не убоюсь — ни суда, ни креста.

Землю постигну я несовершенную
И, искупляющей силой влеком,
Следом за нею на гибель блаженную
В белом хитоне пойду босиком.

1977

* * *

Заснуть и не проснуться,
Пока не прикоснутся
Ко мне твои ладони
И не постигну я,
Что в мир потусторонний
Мы вырвались из плена
Земного бытия.

Развеем, новоселы,
Наш долгий сон тяжелый
О том, что был я грешен,
И перестану я,
Твоей душой утешен,
Разгадывать надменно
Загадку бытия.

1977

КОНЬ

Наросло на перьях мясо,
Меньше скрытого тепла,
Изменилась у Пегаса
Геометрия крыла.

Но пышна, как прежде, грива,
И остер, как прежде, взгляд,
И четыре крупных взрыва
Под копытами дымят.

Он летит в пространстве жгучем,
В бездну сбросив седока,
И разорванным созвучьем
Повисают облака.

1977

* * *

Доболеть, одолеть странный страх,
Догореть, докурить сигарету,
Истребить себя,— так второпях
В автомат опускают монету.

Но когда и внутри и вокруг
Обостряется жизни напрасность,
У нее появляется вдруг
Полудетская мрачная страстность.

А потом начинается свет
Где-то исподволь, где-то подспудно,
Мысль прочнеет, как плоть, как предмет,
И волнуется чисто и чудно.

1977

МГНОВЕНЬЕ

Пустившись вечером в дорогу,
Меж темных скал увидел неба
Я головокружительный кусок.
Как будто идолищу-богу,
Молились горному отрогу
И разжигали звезды алтари.

Младенческое было что-то
В сверкании вечерней бездны,
И мир мне показался так высок,
Что с плеч моих сошла забота,
Я стал пригоден для полета,
Как тот, что сообщил благую весть.

Нездешнего прикосновение
Ожгло меня, и уходило
Оно безмолвно, как песок в песок,
Но я запомнил то мгновение,
Как помнят боль и откровенье
И милую отцовскую ладонь.

1977

НА ТОКУ

На току — молотильщик у горной реки,
Остывает от зноя долина.
«Молотите, быки, молотите, быки!» —
Ударяя, свистит хворостина.

И молотят снопы два усталых быка,
Равнодушно шагая по кругу,
Пролетают года и проходят века,
Свой напев доверяя друг другу.

«Молотите, быки, молотите, быки!» —
Так мой праотец пел возле Нила.
Время старые царства втоптало в пески,
Только этот напев сохранило.

Изменилась одежда и говор толпы,—
Не меняется время-могильщик,
И все те же быки те же топчут снопы,
И поет на току молотильщик.

1977

ГОРОД ХВОЙНЫХ

Я иду навстречу соснам
Тихой улицей в лесу.
За сараем сенокосным
День разлил свою росу.

Перебежчик-кот мурлычет
Обо всем и ни о чем.
Город хвойных здесь граничит
С человеческим жильем.

За единственное яство
В простоте благодаря,
Здесь, в лесу, не хочет паства
Пастыря и алтаря.

Я вступаю в город хвои
Как изгой, инаковер,
Одолев свое бывшее
И языковой барьер.

Кто же станет придирается,
Попрекая чужака,
Если сможет затеряться
В вавилонах сосняка?

1977

НОЧЬЮ

Высотные скворечники
Поражены безмолвьем;
Плеяды-семисвечники
Зажглись над их становьем;
И кажется: чуть-чуть привстань,
И ты коснешься света
Луны, пленительной, как лань
На бархате завета.

О ясность одиночества,
Когда и сам яснеешь,
Когда молиться хочется,
Но говорить не смеешь!
Ты царь, но в рубище одет,
И ты лишился власти,
И нет венца, и царства нет,
А только счастье, счастье!

1977

* * *

Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?
Ты в воздухе, в воде или в огне?
Ты в алтаре? У лопаря ли в торбе?
Иль вправду царствие Твое во мне?

Но где ж его границы и заставы?
Где начинаюсь я? Где Твой предел?
Ужель за рубежом Твоей державы
Я — кость и мясо, тело среди тел?

Не я ли, как и Ты, невидим взору?
Не я ль в Тебе живу, как Ты во мне?
Не я ль, озлясь, испепелил Гоморру
И говорил, пылая в купине?

1977

ПУТЬ К ХРАМУ

Среди пути сухого
К пристанищу богов
Задумалась корова
В тени своих рогов.

Она смотрела грустно
На купол вдалеке
И туловище грузно
Покоила в песке.

Далекий дым камильниц,
И отсвет рыжины,
И томность глаз-чернильниц
Вдруг стали мне нужны.

По морю-океану
Вернусь я в город свой,
Когда я богом стану
С коровьей головой.

Там, где железный скрежет,
Где жар и блеск огня,
Я знаю, не прирежут
И не сожгут меня.

Тогда-то я в коровник
Вступлю, посол небес,
Верней сказать, толковник
Таинственных словес.

Шепну я втихомолку,
Что мы — в одной семье,
Что я наперсник волку
И духовник змее.

1977

ГАНЕША

В роговых очках и в красной тоге,
Жрец пред алтарем огонь зажег
И повел рассказ, и босоногий
Слушает паломников кружок:

«Он сказал: «Любить мы не принудим,
Но любви посеём семена»,—
И учеников отправил к людям,
А к животным — доброго слона.

Слон увидел тигра у запруды,
Хрипло раздирающего лань,
И открыл он тигру сердце Будды:
«Пробудись,— промолвил,— и воспрянь».

Проходя по странам терпеливо,
Слон поднялся к скалам снеговым,
Где, с женою на коленях, Шива
Наблюдал за мальчиком своим.

У того была забава злая:
Голубей хватал он и душил.
Задыхались птицы, округляя
Красный глаз, в котором ужас жил.

Грозный бог, разгневан душегубцем,
В смерть преобратившим озорство,
Размахнулся в ярости трезубцем,
Обезглавил сына своего.

«Что ты сделал с сыном, с нашим сыном!» —
Затряслась, заплакала жена.
Шива взглядом посмотрел повинным
И увидел доброго слона.

И слона он тоже обезглавил
Тем ножом, что молнии быстрей,
К туловищу сына он приставил
Голову апостола зверей.

Так возник Ганеша, светоч новый,
Пламенем насытивший слова,
Сей двуногий и слоноголовый,
С разумом и болью божества.

«Сонное, мгновенное виденье
Все, что с вами на земле творим.
Хватит спать! Пускай наступит бденье!
Пробудитесь!» — говорит живым.

Говорит он, предан доброй вере,
Пробуждая спящих ото сна,
Ибо люди любят, как и звери:
И страшна любовь, и непрочна».

1978

В ХРАМЕ БОГИНИ КАЛИ

Здравствуй, Кали, жестокая матерь!
По забрызганным кровью камням,
Не молещик, не жрец, не взятатель,
Я вхожу в твой мучительный храм.

Только что я, козленок, заколот,
Но гляжу в удивленье немом:
Прежней жизни покинувший холод,
Запредельным я греюсь теплом.

Вот раскачиваюсь пред пришельцем
Из полуночного далека
Я — старушечка с высохшим тельцем,
И рукой — коготком голубка.

На земле, заболевшей проказой,
В смеси чада и влаги, стою,
Весь в грязи, пред тобою, трехглазой,
Но ты видишь ли душу мою?

Погаси во мне память преданья,
С разумением связь разорви,
Дай не белую боль состраданья,
Дай мне черные слезы любви!

1978

УЛИЦА В КАЛЬКУТТЕ

Обняла обезьянка маму,
Чтобы та ей дала орех.
Обняла обезьянка маму,
А дитя обманывать грех.

Убегает тропинка в яму,
Где влажна и грязна земля,
Убегает тропинка в яму,
Как испуганная змея.

Наших родичей куцехвостых
Забавляет автомобиль.
По понятиям куцехвостых
Этот мир не мираж, а быль.
Как вода стоячая — воздух.
И мы тонем в этой воде.
Как вода стоячая — воздух,
Мы не здесь, мы не там, мы нигде.

1981

* * *

Надеваю плащ болонью,
Выхожу. Слегка дождит.
Осень пробует гармонию,
Самолетами гудит.

За сосновой чередою
Светит мне такая даль,
Будто грязною водою
Кто-то вдруг плеснул в хрусталь.

Превратившись в тень ограды,
В листья, птиц и всякий сор,
Здесь ведут со мной монады
Бессловесный разговор.

С ними нежно сочетавшись,
Связи грубые рубя,
Я, самим собой оставшись,
Удаляюсь от себя.

1978

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ

Белеет над Псковом вечерняя пятница.
В скворешне с мотором туристы галдят.
Взяв мелочь привычно, старуха-привратница
Меня почему-то ведет через склад.

На миг отказавшись от мерзости всяческой,
Себе самому неожиданно странен,
Я в маленькой церковке старообрядческой —
Как некий сомнительный никонианин.

На ликах святых, избежавших татарщины,
Какой-то беззвучный и душный покой.
А самые ценные, слышал, растащены
В коммунные годы губернской рукой.

Ужели же церковка эта — отверстие
В эдемских вратах? И взыскующим града
Вползти в него может помочь двоеперстие?
Иль мы позабыли, что ползать не надо?

Я вышел. Я шел вместе с городом низменной
Дорогой и вечера пил эликсир.
Нет Бога ни в каменной кладке, ни в письменной,
И в мире нет Бога. А в Боге — весь мир.

1978

ПУШКИНСКИЕ МЕСТА

В Бугрове пьют. Вчера, больной и пьяный,
Скончался здешний плотник и столяр.
Дополз домой с Михайловской поляны
И умер. А ведь был еще не стар.

Июньской светлой ночью неизвестный
Был сбит пикапом у монастыря.
Есть куртка, брюки, нет лица. «Не местный», —
Сказал прохожий, знаменье творя.

Он здесь чужой. И лишь одни дубравы
Хранят его довременный покой,
И повторяют соловьи октавы,
Записанные быстрою рукой.

1978

Отсюда смотрю на тебя: ты несчастен.
Немолод, не очень здоров, и тетрадь
В столе остывает; не можешь понять,
Что горькому счастью бесстрашно причастен;

Что та, кто в ином воплощенье звездой
Мерцала, — тебя полюбила; что строки,
Как в склеп, заключенные в ящик глубокий,
Еще обладают живой теплотой;

Что глина другая нашлась для сосуда,
Но дух свою прежнюю персть не забыл;
Тобою в прошедшие годы я был;
Тебя, молодого, я вижу отсюда.

1978

* * *

Предвидеть не хочу,
Прошедшего не правлю,
Но жду, когда лучу
Я кровь свою подставлю.

Тех, кто начнет опять,
Я перестал бояться,
Но трудно засыпать
И скучно просыпаться.

1978

* * *

Я сижу на ступеньках
Деревянного дома,
Между мною и смертью —
Пустячок, идиома.

Пустячок, идиома —
То ли тень водоема,
То ли давняя дрема,
То ли память погрома.

В этом странном понятии
Сочетаются травы,
И летающей братьи
Золотые октавы,

Белый камень безликий
Трансформаторной будки
Там, где кровь земляники
Потемнела за сутки,

И беды с тишиною
Шепоток за стеною,
Между смертью и мною,
Между смертью и мною.

1978

В ПУСТЫНЕ

Как странники, в возвышенном смиренье,
Мы движемся в четвертом измеренье,
В пустыне лет, в кружении песков.
То марево блеснет, то вихрь взметнется,
То померещится журавль колодца
Среди загрязивших веков.

Идем туда, где мы когда-то были,
Чтоб наши праотеческие были
Преображали правнуки в мечты,
Нам кажется, что мы на месте бродим,
Однако земли новые находим,
Не думая достичь меты.

Всегда забудется первопроходец.
Так что же радует в пути? Колодец.
Он здесь, в пустыне, где песок, жара.
Вдруг ощущаешь время, как свободу,
Как будто эту гниlostную воду
Пьешь из предвечного ведра.

1978

МОРСКАЯ ПЕНА

Морская пена — суффиксы, предлоги
Того утраченного языка,
Что был распространен, когда века,
Теснясь в своей космической берлоге,
Еще готовились существовать,
А мы и не пытаемся понять,
Что значат эти суффиксы, предлоги,
Когда на берег падают пологий
И гложут в гальке дольного литья,
Но вслушайтесь: нас убеждает море,
Что даже человеческое горе
Есть праздник жизни, признак бытия.

1978

В БРЮХОВИЧАХ

Всюду смешанный лес
Трех наречий славянства,
Русских вихрей шаманство,
Малороссии бес,
Польши чудное чванство.

А напрягши свой слух,
Ты поймешь: не случайно
И австрийское «файно»,
Но земли этой дух —
Беспросветная тайна.

Гнезда вьют кобзари,
Слезы светятся в кроне,
В силлабическом стоне,
И полоска зари —
Как рушник на иконе.

— А давно ль ваш старик
Умер, пани Гелена?
Отвечает смиренно:
— Не пришел чоловик
Из сибирского плена.

1979

Когда я приникну к эдемским вратам
И станут меня вопрошать как пришедшего,
Быть может, на миг я задумаюсь там,
Но быстро пойму, что ответить мне нечего.

А как я хотел говорить! Я хотел
Еще еле слышное,— только одно еще! —
Исторгнуть дыханье из каменных тел,
Извлечь теплоту из застывшего гноища.

О как я хотел говорить!

1979

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

О том, как был с лица земного стерт
Мечом и пламенем свирепых орд

Восточный град,— сумел дойти до нас
Короткий выразительный рассказ:

«Они пришли, ограбили, сожгли,
Убили, уничтожили, ушли».

О тех, кто ныне мир поверг во мрак,
Мы с той же краткостью расскажем так:

«Они пришли как мор, как черный сглаз,
И не ушли, а растворились в нас».

1979

* * *

Над москательной клена
И кирпичами школы —
Воинская попона,
Облачные престолы.

Мне же не надо власти,
Что мне меч и кольчуга?
Есть в моем сердце счастье —
Ласковая подруга.

С нею осень моложе,
В окнах менее мутно.
Доброе утро, Боже!
Ангелы, доброе утро!

1979

ПОРТ

Вблизи владений Посейдона
В степи таинственно простерт
Вдоль влаги иссиня-зеленой
Огромный современный порт.

Но, лик подняв в курчавой пене
Над призрачностью якорей,
Не видит кранов и строений
Все вечный властелин морей.

Пред ним все так же неизменно
Беззвучен, пуст простор степной,
Лишь непослушная сирена
Хохочет, прячась за волной.

1979

ОН, Я И ТЫ

Уже ему казалось: он всемогущ.
Из словарей заветных доставал
Слова и твердой кистью рисовал,
Взяв краски из сверкающих красил.

Уже торжествовал он, видя: раб
Есть раб и здравый разум возвеличен.
А Ты? А Ты сначала так был слаб,
Так неразумен и косноязычен.

Вдруг вспыхнул Ты, как в детстве летний дождь,
Слезую соловьиною скатился
И медленно мне дал такую мощь,
Что я в Твое подобье превратился.

1980

* * *

Огнь связующий и жаркий,
Молнии двужалый меч,
Скинию потрясший гром —
Превращаются в помарки,
В тускло тлеющую речь
Под беспомощным пером.

В телефоне спрятан сыщик,
И подслушивает он:
Может, вслух я согрешу.
Я же только переписчик
Завещавшего закон:
Он слагает, я пишу.

1981

* * *

Тот, кто ветру назначил вес,
Меру определил воде,
Молнии указал тропу
И дождю начертал устав,
С тихой радостью мне сказал:
— Никогда тебя не убьют.
Разве можно разрушить прах
Или нищего разорить?

1981

МИМО РЫНКА

Мимо рынка, мимо гладиолусов
И картофеля, где очередь шумна,
Мимо самосвалов и автобусов,
Тротуаром, загрязненным дочерна,

Мимо вельзевуловых приспешников,
Окружающих меня со всех сторон,
Мимо ненавистников-кромешников,
Оскорбляющих сограждан в телефон,—

Поднимусь к высокому подножию
И, опять познав блаженное родство,
Подойду я к жертвеннику Божию,
К солнцу воли и веселья моего.

1981

РАЗМЫШЛЕНИЯ АВРААМА У ЖЕРТВЕННИКА

1

Что испытывала мать,
Стоя у порога,
Прежде, чем домой позвать
Праотца иль Бога?

2

Как звались былых времен
Дети или внуки?
Тех ласкательных имен
Кто запомнил звуки?

3

И когда пред Всеблагим
Он главой поникнул,—
Милым именем каким
Отрока окликнул?

4

Наколел, связал дрова,
Нагрузил на сына.
Исаак молчал сперва.
Смолкла и долина.

А потом сказал отцу:
«Есть дрова, кресало,
Что ж не взяли мы овцу,
Чтобы жертвой стала?»

6

Был ответ: «Я чту, мой сын,
Господа приказы.
Для сожженья есть один
Агнец большеглазый».

7

Поднимались по холмам.
Силу зной удвоил.
Меж деревьев Авраам
Жертвенник устроил.

8

Он разжег дрова, помог
Отроку раздеться,
И глядел он, и не мог
Вдоволь наглядеться.

9

С загорелой наготой,
С обещаньем мощи,
Был он строен,— молодой
Кедр ливанской рощи.

10

Тонкостан, верблюдоок,
Брови на излете,
И чудесно зрел росток
Крепкой крайней плоти.

11

«Я обрезал эту плоть,
Я не ждал укора.
Сам нарушил мой Господь
Слово договора.

12

Сын единственный умрет.
Как же, сверхстолетний,
Я могу родить народ,
Что песка несметней?

13

Да нужны ли мне стада,
Роды и колена,
Без тебя, моя звезда,
Мальчик мой бесценный?

14

Нет, пред Богом грешен я
Разуменьем скудным:
Разве может Судия
Быть неправосудным?

15

Нет, не глина я, хотя
Сотворен из праха,
И теперь мое дитя
В огонь войдет без страха.

16

Заповедал Судия:
«Народишь ты племя,
И твое умножу Я,
Умножая, семя».

17

Смысл словес его глубок,
Рассуждая строго,
Бог есть мысль, и мысль есть Бог,
Я — подобье Бога.

18

Не равняй людей с песком,
Звездами не числи:
Мысли в образе людском,
Все мы — Божьи мысли.

Тлен — кресало и тесак,
 Дерево сгорает.
 Я есть мысль, мысль — Исаак,
 Мысль не умирает».

20

Он взглянул — и обомлел:
 Сын смотрел на пламя,—
 Точно так же Бог смотрел,
 Теми же глазами!

21

И с небес воззвал слуга,
 Богу предстоящий,
 И баран свои рога
 Выдвинул из чаши.

1983

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ АВРААМА

1

Табунились табуны,
 И стада ягнились,
 И сияющие сны
 Каждой ночью снились.

2

К небу воздух восходил
 Свежим фимиамом,
 И явился Михаил
 Перед Авраамом:

3

«Ныне Бог меня послал
 За твоей душою».
 Но старик еще желал
 Жизнью жить земною.

4

Был он крепок, был не скуп,
Всех встречал с радушьем
И любил мамврийский дуб
Над шатром пастушьим.

5

Он сказал: «Я отдохну
Под господним кровом,
Но сперва на мир взгляну,
Сотворенный Словом».

6

Михаил простер крыла,
Стала ночь светиться,
На степной простор сошла
Чудо-колесница.

7

Взвились вестник и старик
Вровень с небесами.
Беспредельный мир возник
Перед их глазами.

8

И увидел Авраам
Сверху, с колесницы,
Ложь, разбой, и блуд, и срам,
Плахи и темницы.

9

Вскрикнул: «Боже! Здесь позор!
Мир живет в безверьи!
На людей низвергни мор,
Пусть сожрут их звери!»

10

Но раздался Божий глас:
«Знай, в иных началах
Я миры творил не раз,
Тут же разрушал их.

То, что Словом создавал,
 Было бессловесным.
 Дух себя не узнавал
 В облике телесном.

А вот этот мир хорош,
 Ибо в этом зданье
 Правде уступает ложь,
 Радости — страданье.

Ибо здесь любовь сладка,—
 Не страшась броженья,
 Пьют из чашечки цветка
 Мед воображенья.

Этот грешный мир — дворец,
 Город говорящих,
 Ибо только Я — Творец,
 Нет других творящих».

1981

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Что ты заводишь песню военну.

Державин

Серое небо. Травы сырые.
 В яме икона панны Марии.
 Враг отступает. Мы победили.
 Думать не надо. Плакать нельзя.
 Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
 Между развалин — наши солдаты.
 В лагере пусто. Печи остыли.
 Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-богу, там, за фольварком.
Хлопцы, разлейте старку по чаркам,
Скоро в дорогу. Скоро награда.
А до парада плакать нельзя.
Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —
Детское тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя.

1981

ПОРТРЕТЫ

Мне нравится художник
Порывистый, худой.
Огнем незримым движим,
Он был когда-то рыжим,
Теперь бледно-седой.

Он пишет лишь портреты,
И пишет каждый день.
Сменяются недели,
Сменяются модели,
Бессменны свет и тень.

Оделись души цветом,
А плоть — в другой стране,
В Нью-Йорке, в Тель-Авиве
Она стареет живые
На каждом полотне.

Я задаю вопросы
Портретам в мастерской:
— Прошла твоя ангина?
— А вас гнетет чужбина?
— Есть воля и покой?

1981

* * *

Что ты узнал? Что поведал? Вотще
Все твои дни, труды и рассказы.
Близится тот, кто слышит Приказы,—
Первенец смерти тысячеглазый
С капелькой желчи на остром мече.

1982

* * *

Есть отрада и в негромкой доле.
Я запомнил, как поет в костеле
Маленький таинственный хорист.
За большими трубами органа
Никому не видно мальчугана,
Только слышно: голос чист...

1982

* * *

Я принес вам свои раздумия,
Сны трепещущие свои,—
Отпрыск разума и безумия,
Родич голубя и змеи.

Я принес вам свои крамольности,
Я, пугающийся тюрьмы,
Тихо тлеющий пленник вольности,
Жаром веющий светоч тьмы.

Как я царствовал, раболепствуя,
Как я бедствовал на пиру!
Я принес вам свои молебствия,
Спойте их, когда я умру.

1982

ОСЕНЬ У МОРЯ

Пляж опустел. Волны в солнечных вспышках.
Яркий песок. Сонный толстый рыбак.
Чайки болтливые в белых манишках.
Черное сборище тощих собак.

У рыбака слишком женские груди.
Где теперь скумбрия, где камбала?
Старые люди, одесские люди
На лежаке забивают козла.

Как мне близка их безумная участь,
И ничего я не знаю свежей,
Чем вопросительной речи певучести,
Чем иронический смысл падежей.

Юноша, с бедностью южною споря,
Наспех из дома ушел своего,
И ничего не нашел вместо моря,
И не узнал ничего, ничего.

Как я пришел? Чьей прошел я тропюю?
Где разбросал разумения соль?
Жизнь моя, что же мне делать с тобою?
Что с тобой делать, плебейская боль?

Вот я вернулся, так поздно вернулся,
Так холодна в эту пору волна,
Вышел на берег, едва окунулся,
И оглянулся: густа и душна

Туча над морем...

1982

МЕЖДУ МОРЕМ И СТЕПЬЮ

Стебли скудного поля меж морем и степью;
Кукуруза обломана; тучей сплошной
Небо низко склонилось к сухому отрепью
Жестких трав. Наконец-то трамвай — и двойной!

Мне в лицо дышат люди, вагон наполняя.
Вот он дрогнул и двинулся вместе с грозой.
Нет, не ветви касаются стекол трамвая,
Это смерть меня пробует доброй косой.

1982

ДВА ВОСЬМИСТИШИЯ

Пока я живу, я боюсь.
Боюсь, что убьют или убьюсь.
Попойки столичной боюсь
И койки больничной боюсь.
Боюсь наступления дня.
Боюсь, что принудят меня
Покинуть Советский Союз.
Боюсь, что всего я боюсь.

Но плоть возвращу я во прах,
Умру — и погибнет мой страх.
Из чаши забвенья напьюсь,—
Пойму: ничего не боюсь.
Тревог не наследует смерть
И страха не ведает смерть.
О братья — костры, топоры,
О Смелость и Смерть — две сестры.

1983

ДЕРЕВЕНЬКА

Хорошо белеют вдоль дорожки
Донника серебряные брошки,
Липу облетают мотыльки,
И большое облако в тумане,
Как беременная в сарафане,
Пухнет в мутном зеркале реки.

Деревеньку дьявол, что ль, пометил?
Утро здесь не возвещает петел,
И средь лип — ни всхлипов и ни снов,

Не звенит в коровнике подойник,
И молчит, как в саване покойник,
Длинный ряд пустых домов.

1983

КАМЕНЬ

Я камень запомнил среди горных дорог.
Там травы не знают, что где-то их косят.
Он был одинок, как языческий бог,
Которому жертвы уже не приносят.

Он был равнодушен и к бегу машин,
И к тихим движеньям стареющих мулов,
При свете дневном оставался один
И ночью, в мерцании звезд и аулов.

Но было ведь, было: молил его жрец
От глада и мора избавить селенья,
И жертвенник он вспоминал, и овец,
И сладостный запах священного тленья.

Столетия, как стадо, шли мимо него,
Но их замечать не хотел он упрямо.
Когда облака обступали его,
Он думал, что это развалины храма.

1983

* * *

Я знаю вместилище мрака,
Я с детской поры в нем живу,
О нем представленье, однако,
Неправильно по существу.

Во мраке есть жаркие полдни,
И ярко пылает закат.
Деревья в садах не бесплодны,
И скинии хлеба стоят.

В нем синее-синее небо,
Полны города суетой,
И даже свершается треба
Священником в церкви пустой.

1983

НАЧАЛО ЛЕТА

Дочь забудет, изменит жена, друг предаст,—
Все проходит, проходит..
Но ошибся безжалостный Екклесиаст,
Ничего не проходит.

Вновь рождается дочь, чтоб забыть об отце,
Вновь жена изменяет,
Снова друг предает,— и начало в конце
Ничего не меняет.

Но останется в сердце моем и твоём
То, что здесь происходит,
Ибо призрачна смерть и мы вечно живем,
Ничего не проходит.

Потому что осмысленно липа цветет,
Звонко думает птица,
Это было и будет всегда и уйдет,
Чтобы к нам возвратиться.

1983

ЯНВАРЬ, НОЧЬ

Тяжелые белые шубы медвежьи
На елях развесил Январь,
И звездочка в небе, в бездонном безбрежье,
Горит, как на барже фонарь.

Я чужд этой ночи, и логову елей,
И тропке, ползущей в снегу,
И лишь фонарю, что горит еле-еле,
Открыть свою тайну могу.

Не знает зима, как ей быть с посторонним —
Со мной, с огоньком надо мной.
Мы вместе угаснем, мы вместе утонем
В безбрежной пучине ночной.

1984

МАЛИНОВКА

Над грубым гуденьем вагонов
Сияющий храм вознесен,
Но вместо малиновых звонов —
Малиновки сдавленный звон.

О чем же грустишь ты, зорянка?
О том, что покорствуем зря?
О том, что пустая приманка —
Лесное тепло сентября?

О том, что хочу не другую,
А эту дорогу топтать,
И вместе с тобою тоскую
О дерзости громко роптать.

1984

ЗИМНИЙ ЗАКАТ

Вот я вижу тебя сквозь очередь,
Где в былое пятятся годы,
Соименница дерзкой дочери
Сандомирского воеводы.

Как привыкла ты, пообедали
В метростроевской мы обжорке,
На закате зимнем провели
Те, что помнила ты, задворки.

Вот любимся мы домишками
И церквами Замоскворечья,
На тебе, как на князе Мышкине,
Тонкий плащ топорщил оплечья.

О декабрьской забыв суровости,
Мне своим говорком московским
Сообщала старые новости
О Бальмонте, о Мережковском.

Притворились, что не заметили,
Как над нами кружится стужа.
Где присяжные? Где свидетели?
Где Париж? Где погибель мужа?

А порой от намека слабого
Поднималась надменно бровка...
Далека, далека Елабуга
И татарская та веревка.

1984

В ЦАРСТВЕ ФЛОРЫ

В стране деревьев и цветов лесных
Я думаю о существах иных.

Я думаю о близких существах,
Осмысленных в цветах и деревьях.

Мне кажется, что легкая сосна —
Та девочка, чья южная весна

Пролепетала в отроческий час
Мне первый и пленительный отказ.

Мне кажется: акация, как мать,
Откинула серебряную прядь,

И говорят мне белые цветы:
«Все правильно, мой мальчик, сделал ты».

Я вижу старый искривленный дуб.
Рисунок узнаю отцовских губ.

Еще мгновенье — он уйдет во тьму,
Сейчас не хватит воздуха ему.

А кто стоит среди кустов и трав,
А сам, как лес, как целый лес, кудряв?

И ствол его, до самой купины
Обугленный дыханием войны,

Навеки, прочно в эту землю врос,
Ничто ему ни вьюга, ни мороз,

Всегда во мне, поныне с давних пор,
Исследующий, требующий взор.

Одетое душистою листвою,
Мне деревце кивает головой,

И я на голос двигаюсь ольхи,
Читающей безумные стихи,

И жаром араратского огня
Два разных глаза веют на меня.

1984

В КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ

1. ДНЕМ

В долине плоской, как доска,
Чернеют овцы и собаки —
Начертанные кем-то знаки
Неведомого языка.

Песок и солнце жгут их колко,
А я пытаюсь их прочесть,
Забыв про шифер и про жесть
Степного пыльного поселка.

Вдруг клинописному письму
И я сумею научиться,
Но смысл, который в нем таится,
Я не открою никому.

2. НОЧЬЮ

О степь калмыцкая с двоякой
Субстанцией ночной,
Когда братаются два мрака:
Воздушный и степной.

Здесь образ неба так нагляден,
Как будто степь видна,
В нем столько же бугров и впадин,
Как у степного дна.

Здесь понял я, что мир загробный
Земным стезям сродни,
Здесь звездам — редкие — подобны
Степных жилищ огни.

Здесь видел я, как вспыхнул разум
Небесной чистоты
В том желтоскулом, узкоглазом,
Который гнал гурты.

1984

ПТИЦА

Посвист осенний во мгле — Кудеяр-атаман
Кличет своих сотоварищей хищных, когтистых,
Двигается лес, приближается к дому туман,
Пряча в себе очертанья деревьев безлистых.

Птица в окно ударяет, стучится в стекло,
Форточку я отворяю, и птица влетает,
Ей хорошо на ладонях моих, ей тепло,
Умные черные глазки от счастья блистают.

Ей хорошо в домовитом, нагретом углу,
Крыльям бессильным нужна этих бревен ограда.
Страшно вернуться назад, в ястребиную мглу,
Воля страшна, потому что ей воли не надо.

1984

ОТРАЖЕНИЕ

Вовек не ведавшая груза,
Чуть холодна, но не строга,
Как властно и спокойно Руза
Разъединяет берега.

Стоят колодезные срубы,
С ней не забывшие родства,
Над ней — столетних фабрик трубы,
Тысячелетние слова.

Ее обманчивая милость
Есть в ощущении моем,
Что ничего не изменилось
В краю негромком и родном,

Что я, сегодня отраженный,
В ней вижу гордое вчера,
Что я стою над ней, рожденный
Для битвы, жертвы и добра.

1984

* * *

Присягаю песенке пастушьей
Около зеленого холма,
Потому что говорит мне: «Слушай
Отзвуки Давидова псалма».

Присягаю выпренному слогу,
Потому что по земле иду
В том саду, где Бог молился Богу,
И цветы сияют в том саду.

Присягаю ночи заполярной,
Движущейся, может быть, ко мне,
Потому что вижу свет нетварный
В каждом пробуждающемся дне.

1984

ОСВЕЩЕННЫЕ ОКНА

Поздней ночью проснусь — ужаснусь:
Тьму в окне быстрый ветер косматит,
Все, чего я душой ни коснусь,
Однотонно меня виноватит.

То ли речи дождя мне слышны
В шуме желтых осенних лохмотьев?
Два окна, как две жгучих вины,
Зажигаются в доме напротив.

Выше — юности глупой вина,
Ниже — та, что пришла с лихолетьем,
И горят в черноте два окна
На шестом этаже и на третьем.

1984

ПРАВДА

Рядится правда, нам сверкая
То остромысленным пером,
То побасёнкой попугая,
То старой притчи серебром.

То выкажет свою натуру
Из-под дурацких колпаков,
А то по молодости, сдуру,
Сболтнет нам сорок сороков.

Но лучше всякого глагола
Хитроискусной суеты
Усталый облик правды голой,
Не сознающей наготы.

1984

* * *

Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?

О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они,

Чтоб их священник в нищем храме
Сказал седым и молодым,
А те устами и сердцами
Их повторяли вслед за ним...

1984

ПАМЯТНИК СТАРИНЫ

Надвратная церковь грязна, хоть бела,
На стенах собора — приметы ремонта,
А вспомни, как травка здесь кротко цвела,
Звенели в три яруса колокола
И день откликался на зов Ферапонта.

А вспомни, как двигались на монастырь
Свирепость ордынца и жадность литвина,
Но слушала вся подмосковная ширь,
Как пастырь настраивал чутко псалтырь,
И ей подпевали река и долина.

Все вынесли стены — и язву, и мор,
И ор петушиный двенадцати ратей,
Но свой оказался острее топор, —
Стал пуст монастырь и замолкнул собор,
Не шепчет молитв и не хочет проклятий.

Зачем ремонтируют? Будет музей?
Займут помещенье под фабрику кукол?
Сюда не идет на поклон мукосей,
И свой оказался чужого грозней, —
Хмель вытравил душу иль дьявол попутал?

Когда поднимается утром туман
Иль красит закат полосу горизонта,
Ревет над рекой репродуктор-горлан
И отклика нет у заречных крестьян
На зов Ферапонта, на зов Ферапонта.

1984

И. И. Ром-Лебедеву

Возле Минска, в свете полнолуны,
На краю лесного полустанка,
Поводила бедрами плясунья,
Пестрая красавица цыганка.

Танцевала в длинной красной юбке,
Хрипло пела в длинной желтой шали,
И за неимением душегубки,
Немцы не душили — убивали.

Там стрельба поляну сотрясала,
Ржали кони, и кричали люди,
А цыганка пела и плясала,
И под шалью вздрагивали груди.

Громкий ужас древнего кочевья,
Молодые, старики и дети
Падали на землю, как деревья,
А над ними — песнь седых столетий.

Темная земля в крови намокла,
Нелюдь слушала, стреляла, злилась,
Наконец и девушка замолкла
И на лошадь мертвую свалилась.

Сохранили и дубы, и вязы
Оборвавшуюся песнь цыганки,
И от них услышал я рассказы
Про гибель кочевой стоянки.

1984

ЛЕСНОЙ УГОЛОК

Здесь холмик перерезан
Подрубленным стволом.
Ручей пропах железом,
Как человек — теплом.

Как полотенце, мокнет
Шоссе, прибита пыль,
Вот-вот в ветвях зацокнет
Соловушка-бобыль.

Не каждому приятен
Сей беспредельный лес,
Да и не всем понятен
Его удельный вес.

Здесь и трава, и всхолмье,
И дикий блеск воды,—
Не темное бездомье,
А свет всея звезды.

А если глубже вникнуть,
То в прели и в грязи
Здесь может свет возникнуть
Всея моей Руси.

1984

* * *

Коровье дремлет стадо
На травке луговой,
Один бычок безрогий
Мотает головой,
И от реки прохлада
Струится вдоль низин
Проселочной дорогой,
Где царствует бензин.

Как телка, неподвижен
Железный ржавый лом.
Гараж и мастерские
Рождают мнимый гром.
К животным он приближен,
Но не пугает их,
Хоть голоса людские
Грубее луговых.

Я вспомнил, что когда-то
Я тоже был бычком
И на траву, безрогий,
Ложился я ничком.
Громов и их раската
Понять хотел я суть,
Вникая в гул тревоги
И не страшась ничуть.

1984

ДВУЕДИНСТВО

Есть двуединство: народ и религия,
И потому что они сочетались,
Правды взыскав, отвергну вериги я
И не надену ни рясу, ни талес.

Нам в иероглифах внятна глаголица.
Каждый зачат в целомудренном лоне.
Каждый пусть Богу по-своему молится:
Так Он во гневе судил в Вавилоне.

В Польше по-польски цветет католичество,
В Индии боги и ныне живые.
Русь воссияла, низвергнув язычество,
Ждет еще с верой слиянья Россия.

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами,
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.

1984

* * *

Есть ли жизнь в гончарной мастерской,
Там, где глиняные существа
Обладают внешностью людской,
Легкой забавляются строкой,
Говорят ненужные слова.

Но от них я славы не хотел
(И быть может, в этом мой порок),
Я мечтал избрать другой удел,—
Стать душою для бездушных тел
С помощью скрепленных рифмой строк.

А строка моя произошла
От союза боли и любви,
Чтоб войти в бездушные тела,
Чтобы чудно глина ожила
От союза боли и любви.

1984

В НИЩЕЙ ХАТЕ

В нищей хате, в Назарете...

Сологуб

Женщины в синих рубашках стоят у колодца.
Светится скупо внизу Назарет.
Вечер сухою и колкой прохладой льется.
Но кое-где еще глиняный город нагрет.

Женщина с полным кувшином спускается к хате.
Плотник ячменные хлебы испек.
Уголь истлел в очаге, а над люлькой дитяти
Через открытые двери сгустился восток.

Было б неплохо купить для светильника масло,—
Где там: гроша не найдут бедняки.
Но, чтоб младенец без страха заснул, чтоб не гасла
Нищая хата, слетелись в нее светляки.

1985

* * *

Вот и новый день глаза смыкает,
И его одеда пелена,
Но в душе моей не умолкает
Негодующая тишина.

Немоты надменная основа,
Ты прочнее, чем словесный хруст,
Но как трудно, стыдно прятать слово,
Вырваться готовое из уст.

1985

ПТИ-КРЮ

Когда я сам с собою говорю,
А говорю я о своей печали,
Как хочется, чтоб на часок Пти-Крю,
Колдунью-собачонку мне прислали.

Чтоб разогнал ее целебный лай
Тоску и страхи, а у них под спудом
Я обнаружил бы волшебный край,
В моей душе открывшийся мне чудом.

Как странник, долго шедший по местам
Глухим и диким, но приют нашедший,
Я землю обрабатывал бы там,
Пустыню превратил бы в сад расцветший.

Переселенец, жил бы в шалаше,
В тиши, в трудах, в усталости желанной,
И в собственной скончался бы душе
Для вечной жизни, ей обетованной.

1985

24 ИЮНЯ 1985 ГОДА

Я не был ни ведомым, ни вожатым,
Ни каменщиком вольным, ни в охране,
И никакой патологоанатом
Не станет изучать мои останки.

Обрел я в жизни лишь одну удачу,—
По-детски веруя, мараить бумагу
И знать, что и на небе не утрачу
Траву лесную и речную влагу.

Забыв о глиняном непрочном грузе,
И там босыми легкими ногами
Коснусь голубизны, приближусь к Рузе,
Изогнутой живыми берегами.

И вновь возникнет предо мной складная
Скамеечка и яркий твой купальник,
И вновь пойму, что вам я сопечальник:
Тебе, любовь, тебе, земля родная.

1985

* * *

Над речкой взбухли ватные химеры,
К плетню прижался новый «Запорожец»,
В деревне лишь одни пенсионеры
Да несколько приезжих детских рожиц.

Березы, как солдатские невесты,
В сторонке собрались, в ячменном поле,
И громко повторяют анапесты
Некрасова ли, Анненского, что ли.

И радостно мне знать, что неизменны,
Какие б ни безумствовали грозы,
И анапестов звон, и хлеб ячменный,
И во поле стоящие березы.

1985

ЛЕШИЙ

Стоит холодное сырое лето.
Мне сквозь туман, сдается, вся видна,
В тулуп нагольный спрохвала одета,
Бессильно-гениальная страна.

Ее мутно-зеленый глаз мужичий
Не знает сам, о чем его мечта:
Разбойничьей ли ищет он добычи
Иль тишины раскольничей скита.

Куда ни глянь — поляны, поймы, плеша,
Районной речки медленный поток,
И, на ветвях качаясь, смотрит леший
С насмешкой на военный городок.

1985

* * *

Воды вдоль тихих берегов
Охрипая певучесть,
Свеженаметанных стогов
Щемящая пахучесть,

И зарождающихся гроз
Изустная словесность,
И заколдованных берез
Влекущая безвестность,

И на холме — вдали — музей,
Где звон блаженно длился,
Где царь тишайший Алексей
Михайлович молился,

И все, что обнимает взгляд,
Преобразясь в прозренье,
Со мною движется назад
В четвертом измеренье.

1985

В ЧАСЕ ХОДЬБЫ ОТ ВЕЙМАРА

Тайный советник, поэт и ученый
В обществе дам, двух подруг герцогини,
Медленно движется рощей зеленой,
Ясен покой на лесистой вершине;

В купах деревьев различаешь дыхание
Листьев; и птицы к закату замолкли;
Завечерело; и слышно шуршанье:
Речь ли немецкая? Травка ли? Шелк ли?

Дамы внимают советнику Гете,
Оптики он объясняет основы,
Не замечая в тускнеющем свете,
Что уже камеры смерти готовы;

Ямы в Большом Эттерсберге копают,
Всюду столбы с электричеством ставят;
В роще бензином живых обливают
И кислотой синильною травят.

1985

* * *

Я никогда не видел правду жизни,
А правду смерти видел на войне.
Тогда-то и открылось мне впервые
Незримое в том зримом, в чем живые
Мнят истину, бесспорную вполне.

А что это такое — правда смерти?
Лежит солдат, лежит без головы,
Но все же вечность — в нем, он существует,
Его душа волнуется, волнует
И небо, и меня, и тень травы.

1985

* * *

Я взлечу в небеса из болота,
Там, где вязкий, погибельный прах,
Я взлечу в небеса из болота
И растаю как след самолета
В небесах, в небесах.

Растворенная в небе частица,
Я увижу в лазурном стекле,
Растворенная в небе частица,
Я пойму, что со мною творится
На земле, на земле.

Кто же виден мне в гнилостной плоти
Сквозь заоблачную синеву?
Это вновь в своей гнилостной плоти,
Вновь в погибельном вязком болоте
Я живу, я живу.

1986

ВЫКЛЮЧИЛИ СВЕТ

Электроплита, батареи
Служить перестали. В окне —
Темнее, в доме — холоднее.
Но вспыхнуло что-то во мне.

Один, в темноте, в своем кресле,
Зажечь не желая свечу,
Я жду, чтобы тени воскресли,
Всем телом я жду и молчу.

Я чувствую светлую страстность
Внутри существа моего,
И к здешнему миру причастность,
И с миром нездешним родство.

Недвижный, во тьме я взлетаю,
Я сам превращаюсь в свечу.
И с радостью плачу, и таю,
Но утру навстречу лечу.

1985

* * *

Слышу, как везут песок с карьера,
Просыпаюсь, у окна стою,
И береза смотрит светло-серо
На меня, на комнату мою.

Голубое небо так сверкает,
Почему ж в нарушенной тиши
Ужас пониманья проникает
В темную вещественность души.

Разве только нам карьер копали,
Разве только мы в него легли?
Мать Утоли Моя Печали
Не рыдала ль плачем всей земли?

1986

В ПОЛЕ ЗА ЛЕСОМ

Иду в поля, со мной травинушка
Или цветочный стебелек?
«Нет, не цветок я, а княгинюшка,
На мне венец, а не веноч.

Внесла я вклад в казну обители,
Уединясь от дел мирских.
Нас превратили погубители
В существ лесных и полевых.

Мы жили в кельях, но с веселостью,
Светло на родине рослось.
Но мирдохнул чумною хворостью,
Мы были близко,— нынче врозь.

Одним путем пошла Маринушка,
Другой для Аннушки пролег.
А где ж монахиня-княгинюшка?
Я — только тонкий лепесток.

Но верю: мы друг друга вылечим,
Вода пасхальная близка.
Мы сорок жаворонков выпечем
Для мучеников сорока!

И пусть я даже стала травушкой,
Но вы со мной, опять со мной.
Не погубили нас травушкой,
Спаслись от хворости чумной.

Зову я: «Это ты, Маринушка?
Ты, Аннушка, цела, жива?»
Лишь плачет надо мной осинушка,
Кругом — земля, цветы, трава».

1985

НА ИСТРЕ

Не себя нынче звезды славят,
Засветясь в предпраздничный вечер,—
Это кроткие ангелы ставят
Перед Божьей Матерью свечи.

И когда на неделе вербной
Звездный свет до земли доходит,
Не гараж со стеной ущербной,
Не пустое село находит,

А исчезнувший сад монастырский —
Сколько яблок созреет сладких!
На продажу — калач богатырский,
Мед в корчагах и масло в кадках.

Возле фабрики тонкосуконной
Слобода построилась быстро,
И не молкнет гул семизвонный
Над бегущей весело Истрой.

На монахинь глядит Приснодева —
Кто в саду, кто стелет холстину —
И узревшему землю из хлева
Выбирает невесту сыну.

1986

* * *

Я забыть не хочу, я забыть не могу
Иероглифы птичьих следов на снегу,
Я забыть не могу, я забыть не хочу
Те ступеньки, что скользко сползали к ключу.
Не хочу, не могу эту речку забыть,
Что прошила снега, как суровая нить.

Я забыть не хочу, я забыть не могу
Круг закатного солнца на вешнем лугу.
Я забыть не могу, я забыть не хочу
Эту сосенку, вербную эту свечу.
Только б слышать всегда да и помнить всегда,
Как сбегает с холма ключевая вода.

1986

СОБОР

Не в зеленом уборе
Вижу землю мою,
А в зеленом соборе
Я молюсь и пою.

И ведет не апостол,
И зовет не левит,—
Сам внутри себя создал
То, чем жить надлежит.

Ум и сердце очистив
От сует и нитья,
Слышу проповедь листьев
И псалом соловья.

Я в зеленом соборе
Узнаю, что опять
Губит Чермное море
Фараонову рать;

Что, зажав свой пастуший
Посох в смуглой руке,
Вновь идет, как по суше,
Человек по реке.

Домотканой рубахи
Чуть намокли края,
В чудном трепете птахи,
Воды, ветви и я.

1986

ПРИМЕЧАНИЕ К ФОРМУЛЕ ЭЙНШТЕЙНА

Мою кобылку звали Сотка,
А привела ее война.
Светло-саврасая красotka,
Она к тому ж была умна.

Ни разу ночью не заржала
В станицах, где засел чужой,
А надо было, так бежала,
Как будто брезгуя землей.

Прищуриль глаз, орех свой грецкий,
Она подмигивала мне,—
Мол, понимает по-немецки
В зеленотравной западне.

Верхом на ней, светло-саврасой,
Я двигался во тьме степей,
Но был не всадником, а массой,
Она — энергией моей.

1986

* * *

Я иду среди лесного гама,
Листья то цепляются, то жгут,
Комары, как нищенки у храма,
С тайной злостью плачут и поют.

Согнут столбик давнего замера,
Где-то рвется птичий голосок
Да еще вдали везут с карьера
Грузовые чудища песок.

Я ли после двух больниц шагаю
Мокрою, извилистой тропой,
На ходу бессвязное слагаю,
Самому себе теперь чужой?

Это я ли, пятигодовалый,
Гордый разуменьем букваря,
Видел садик около вокзала
И приезд последнего царя?

Я ли дрался под водою в споре
С драчуном таким же, как и я,
За монетку, брошенную в море
Юнгою с чужого корабля?

Я ли смерти, может быть, навстречу
Шел в степной ставропольской ночи,
И насторожен нерусской речью,
Прятался в густых стеблях бахчи?

Я ль немолодым назвал впервые
Женщину возлюбленной женой?
А во мне, со мной мои чужие,
Я живу, пока они со мной.

1986

* * *

Потомства двигая зачатки,
Лягушек прыгают двойчатки,
Снег мочит редкую траву,
Поют крылатые актеры,
А к ним взлетают метеоры —
Так бабочек я назову.

Милы мне бабочки и птицы!
Я тот, кто вышел из больницы,
Кто слышит, как весна идет,
Но помнит знаки жизни хрупкой —
Связь неестественную с трубкой,
Свой продырявленный живот.

Я вам обоим благодарен:
Тебе, что ярко мне подарен,
Мой день, поющий все звончей,
Тебе, что света не видала,
Что триста дней со мной страдала
И триста мучилась ночей.

1986

* * *

Чистое дыханье облаков
Цвета трав, уже зеленоватых,
Но смущенных, будто виноватых
В грязной рвани, в ржавчине судков,

В загородных — за зиму — отбросах.
Но еще дано листьям травы
Весело купаться в летних росах
И занять у неба синевы.

Да и я свободен пить из вешней
Чаши этой средней полосы.
А еще вкусить бы воли внешней,
Пусть не больше капельки росы.

1986

РОДНИК

Где часовня белела
Издалека,
Божья мать скорбела
У большака.
И от слов ее горьких
В роще возник,
Отзвенев на пригорках,
Чистый родник.
Проезжали подводы,
Слышался скрип,
Проникавший под своды
Пахнувших лип.
Все пылилось, гудело,
Пело, цвело,
А часовня белела
Бело, бело.
И сраженье гремело,
И войско шло,
Божья Мать скорбела
Светло, светло.
Чад цыганской жаровни
Возле куста
От подножья часовни
Полз до креста,
А зимой выла рядом,
В гуще снегов,
С человечьим укладом
Бытность волков.
И молитвы, и толки —
Вечная смесь.
Но сильнее стали волки,—
Только ли здесь?
Божью Мать втоптали
В пыль, но в пыли
Утоляла в печали
Печаль земли.

Где часовня? Где запах
Срубленных лип?
Гибнет свет в волчьих лапах
Или погиб?
Нет, родник не желает
Больше не быть,
Плачет мать, утоляет
Пришедших пить.

1986

СКОРБЬ

Я не знаю, глядя издалече,
Где веков туманна колея,
Так же ли благословляла свечи
В пятницу, как бабушка моя.

Так же ли дитя свое ласкала,
Как меня моя ласкала мать,
И очаг — не печку — разжигала,
Чтоб в тепле молитву прочитать.

А кому Она тогда молилась?
Не ребенку, а Его Отцу,
Ниспославшему такую милость
Ей, пошедшей с плотником к венцу.

Так же ли, качая люльку, пела
Колыбельную в вечерний час?
Молодая — так же ли скорбела,
Как теперь Она скорбит о нас?

1987

* * *

Как видно, иду на поправку
И мне не нужны доктора.
С самим собой очную ставку
Теперь мне устроить пора.

Пора моей мысли и плоти
Друг другу в глаза посмотреть,
К тебе устремившись в полете,
Совместно с мирами сгореть.

Позволь мне себе же открыться
И тут же забыть этот взгляд,
Позволь мне в тебе раствориться
И в плоть не вернуться назад.

1987

* * *

Когда мы заново родились,
Со срама прячась за кусты,
Не наготы мы устыдились,
А нашей мнимой красоты,

А нашего лжепониманья,
Что каждому сужден черед.
Но смерть есть только вид познания,
Тот, кто родился, не умрет.

И Вельзевуловы солдаты
Не побеждают никогда
Молящихся: мы виноваты,
Вкусивши счастья стыда.

1987

РАЗГОВОР

Говорит правда дня, говорит правда ночи.
Что ж друг другу они говорят? «Говори,
Говори подлинней, нам нельзя покороче,
Мы должны говорить от зари до зари».

Говорит правда дня: «Я — весы и число,
Я — топор и стрекало, перо и лекало,
Я — затоптанный флаг, я — мятежное зло,
Все, что племя людей век за веком искало»

Говорит правда ночи: «Я — смятение счастья,
Я — догадка любви, я — разгадка судьбы,
Я — веселая воля, я — валторна безвластья,
Я — извечная связь волшебства и мольбы».

1987

ПО ЭДГАРУ ПО

Возле рижской магистрали, где в снегу стволы лежали,
В глубине лесной печали шел я мерзлую тропой.
Обогнул седой чапыжник. Кто там прынул на
бульжник?

Это старый чернокнижник, черный ворон, ворон злой.

Страшных лет метаморфоза, посиневший от мороза,
Трехсотлетний член колхоза,— черный ворон мне
кричит:
— Золотник святого дара сделал вещью для базара,
Бойся, грешник, будет кара,— черный ворон мне кричит.

Говорю я: — Трехсотлетний, это все навет и сплетни,
Есть ли в мире безответней и бессребренной меня?
Не лабазник, не приказчик, золотник я спрятал в
ящик,—
Пусть блеснет он, как образчик правды нынешнего дня.

Но упорен черно-синий: — Осквернитель ты святыни,
Жди отмщения эриний,— ворон старый мне кричит.
— Мастерил свои товары, чтоб купили янычары,
Бойся кары, грозной кары,— ворон старый мне кричит.

За деревней малолюдной, свой подъем окончив трудный,
Я вступаю в край подспудный, но душе открытый лес.
Кто там, кто там над болотом? Ворон, ты ль за
поворотом?
Ты ль деревьям-звездочетам поклонился — и исчез?

1987

ВОР

Хороши запевалы,— атаманы, пожалуй, не хуже,
Чаша ходит по кругу, а сабли остры,
О Димитрии первом, об убитом Маринином муже
Величальную песню поют гусяры.

У Марины походка — сандомирской лебедушки танец,
Атаманов ласкает приманчивый взор.
О себе эту песню нынче слышишь, второй самозванец,
Но всегда будешь первым, наш тушинский вор.

А тебя порубают, — будет третий, четвертый и пятый,
Где ковыль задернеет, там хлебу шуметь,
Но останешься первым, и до самой последней расплаты
Величальную песню тебе будут петь.

Отпоют тебя степи, обезводятся волжские срубы,
Ворон каркать привыкнет, что царствует вор.
Над башкой твоей мертвой не померкнут Маринины губы,
Лебединая шея, колдующий взор.

1987

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Как прекрасен, о Господи,
Твой Новый Иерусалим!
Река стягивает его стан
Блистающим кушаком,
Конец которого под висячим мостом уходит
Далеко, быть может, за Ливан.
Более ровно его окружает
Оборонительный пояс,
И на могучей, родной, славянской заре
Вавилонская мотопехота
Кружится в своих металлических
Изящных, самодвижущихся повозках.

Как чиста подмосковная даль,
Как прекрасна высокого плача
Березовая стена.
Ты собрал, о Господи, людей полевых,
Ремесленных, посадских людей,
И внушив им догадку построить
Новый Иерусалим на Истре,
Ты видел перед Собою,
Ты, который видишь все, а сам никому не виден,
Старинный далекий город
С пророками и царями,
С храмом и виноградниками,
Видел и Себя Самого,
Въезжающего в этот город по узкой,

Азиатской пыльной дороге,
На тихом, ласковом ослике,
И как там,
Ты разбил жителей Нового Града
На колена.
Вот колено сосен — пастырей духовных,
Колено елей-звездочетов,
Колено дубов — воинов бронегрудых,
Колено трав полевых бессильных,
Колено трав полевых целебных,
Колено цветов — знатных прихожан,
Колено цветов — безвестных тружеников,
Колено бабочек — щеголих,
Колено волков — серых видений Каина,
Колено ланей, чье изображение — на Твоей книге,
Колено волов, бездумно жующих своих соплеменников
Траву и цветов-смиренников,
Колено птиц, которым Ты присвоил
Крылья серафимов,
И колено птиц,
Которых Ты щедро наградил
Серебряными шекелями
Своей несравненной гортани.

А там, за антеннами,
Над кровлями с детства запуганных людей,—
Там в самом деле коровник?
Там в самом деле колхозный амбар?
Там в самом деле здание сельсовета?
Там в самом деле котельная
Дома отдыха фарисеев?
Разве там — вдали — под перистыми облаками
Не высится недавно отстроенный
Храм Нового Иерусалима,
Храм, возведенный нашими окованными руками?

Как прекрасно, о Господи,
Созданное Твоими работниками,
Даже музей, в котором болтают,
И никто не молится Твоему образу.
И, может быть, даже колена,
Которого не знал старый Иерусалим,
Пьяное, сплошь плоть, сплошь прах,
Тоже может стать прекрасным,
Если Ты вдохнешь в него душу и простишь его...

Не кровосмесительным, наговорным
Злым зельем чернокнижников,
А чистой, целомудренной кровью зари
Напоены облака, и река, и вода родника,
И широка, широка зоря
Над Новым Иерусалимом.

1987

* * *

Когда мне в городе родном,
В Успенской церкви, за углом,
Явилась ты в году двадцатом,
Почудилось, что ты пришла
Из украинского села
С ребенком, в голоде зачатом.

Когда царицей золотой
Ты воссияла красотой
На стеклах Шартрского собора,
Глядел я на твои черты
И думал: понимала ль ты,
Что сын твой распят будет скоро?

Когда Казанскою была,
По Озеру не уплыла,
Где сталкивался лед с волнами,
А над Невою фронтовой
Вы оба — ты и мальчик твой —
Блокадный хлеб делили с нами.

Когда Сикстинскою была,
Казалось нам, что два крыла
Есть у тебя, незримых людям,
И ты навстречу нам летишь,
И свой полет не прекратишь,
Пока мы есть, пока мы будем.

1987

НИЩИЕ В ДВАДЦАТЬ ВТОРОМ

Капоры белиц накрахмалены,
Лица у черниц опечалены,
Побрели богомолки.
Помолиться — так нет иконочки,
Удавиться — так нет веревочки,
Только елей иголки.

Отгремели битвы гражданские,
Богатеют избы крестьянские,
Вдоволь всяческой пищи.
Только церковка заколочена,
Будто Русь — не Господня вотчина,
А нечистых жилище.

Зеленеют елей игопочки,
Побираются богомолочки,
Где дадут, где прогонят,
И стареют белицы смолоду,
Умирают черницы с голоду,—
Сестры в поле хоронят.

1987

БУРЯ

В начале августа прошла
Большая буря под Москвою
И тело каждого ствола
Ломала с хвоей и листвою.

Кружась под тучей грозовой,
Одна-единственная птица
Держалась к буре головой,
Чтоб не упасть, не расшибиться.

Свалилась на дорогу ель,
И над убитым мальчуганом
Сто океанов, сто земель
Взрели темным ураганом.

Малыш, за чей-то давний грех,
Как агнец, в жертву принесенный,
Лежал, сокрытый ото всех,
Ничьей молитвой не спасенный.

Заката неподвижный круг,
Еще вчера спокойный, летний,
Сгорел — и нам явились вдруг
Последний день и Суд последний.

Мы понимали: этот суд
Вершится вдумчиво и скоро,
И, зная — слезы не спасут,
Всю ночь мы ждали приговора.

А утром солнышко взошло,
Не очень яркое сначала,
И милостивое тепло
Надеждой светлою дышало.

Зажглась и ранняя звезда
Над недоверчивым безлюдьем,
Но гул последнего Суда
Мы не забудем, не забудем.

1987

ТУМАН

Лес удивляется белесой полосе,
А мир становится безмерней:
Как будто пахтанье, густеет на шоссе
Туман поздневечерний.

Врезаемся в него, не зная, что нас ждет
За каждым поворотом чудо.
Сейчас нам преградит дорогу небосвод
С вопросом: — Вы откуда?

А я подумаю, что эта колея
Бесплотней воздуха и влаги:
Она низринута с горы свержбытия
В болота и овраги.

1988

ИРИСЫ

Деревня длится над оврагом,
Нет на пути помех,
Но вверх взбираюсь тихим шагом,
Мешает рыхлый снег.

Зимою жителей немного,
Стучишь — безмолвен дом,
И даже ирисы Ван Гога
Замерзли над прудом.

А летом долго не темнело,
Все пело допоздна,
Все зеленело, все звенело,
Пьянело без вина.

Вновь будет зимняя дорога,
Но в снежной тишине
Все ж будут ирисы Ван Гога
Цвести на полотне.

1988

* * *

Шумит река, в ее одноголосье —
Загадка вековая, кочевая.
Из темной чащи выбегают лоси,
Автомашин пугаясь — и пугая.

И голос, кличем пращуров звучащий,
И лес по обе стороны дороги,
И мы посередине темной чащи,
И наши многодумные тревоги,

И лоси, вдруг возникшие, как чудо,
С глазами, словно звезды Вавилона,—
Мы здесь навек. Мы не уйдем отсюда.
Земля нам не могила здесь, а лоно.

1988

СТЕНЫ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

Гумилев

Стены Нового Иерусалима
Не дворцы и скипетры царей,
Не холопье золото ливрей,
Не музейных теток разговоры,
Не церковей замшелые подпоры,
Не развалины монастырей,
А лесов зеленые соборы,
А за проволокою просторы
Концентрационных лагерей,
Никому не слышные укоры
И ночные слезы матерей.

1988

В КОВЧЕГЕ

Просило чье-то жалостное сердце,
Чтобы впустили и меня в ковчег.
Когда захлопнулась за мною дверца
И мы устраивались на ночлег,
Забыл я, кто я: отпрыск иноверца
Иль всем знакомый здешний человек?

Лицо мне щекотало тело львицы,
Я разглядеть не мог других людей.
Свистя, вертелись надо мною птицы,
То черный дрозд, то серый соловей.
Я понимал, что нет воде границы
И что потоп есть Дождь и вождь Дождей.

Я также понимал, что наши души
Остались там, в пространстве мировом,
Что нам теперь уже не надо суши,
Что радость есть в движенье круговом,
А за бортом вода все глуше, глуше,
Все медленней, но мы плывем, плывем...

1988

* * *

В слишком кратких сообщениях ТАССа
Слышу я возвышенную столь
Музыку безумья Комитаса
И камней базальтовую боль.

Если Бог обрек народ на муки,
Значит, Он с народом говорит,
И сливаются в беседе звуки
Геноцид и Сумгаит.

1988

* * *

Устал я от речей
И перестану скоро
Быть мерою вещей
По слову Протагора.

Устал я от себя,
От существа такого,
Что, суть свою рубя,
В себе растит другого.

Нет, быть хочу я мной
И так себя возвысить,
Чтоб, кончив путь земной,
Лишь от себя зависеть.

1988

ВОСПОМИНАНИЕ

Райский сад не вспоминает,
Просто дышит и поет,
Будущего он не знает,
Прошлого не сознает,

И лишь наша жизнь земная
Думает о неземном,
И, быть может, больше рая
Память смутная о нем.

1988

КАВКАЗ

Я видел облака папах
На головах вершин,
Где воздух кизяком пропах,
А родником — кувшин.

Я видел сакли без людей,
Людей в чужом жилье,
И мне уже немного дней
Осталось на земле.

Но преступление и ложь,
Я видел, входят в мир
С той легкостью, с какою нож
В овечий входит сыр.

1988

МАЙСКАЯ НОЧЬ В ЛЕСУ

Какая ночь в лесу настала,
Какой фонарь луна зажгла,
Иль это живопись Шагала —
Таинственная каббала?

А что творится с той полянкой,
Где контур сросшихся берез,—
Как будто пред самаритянкой
Склонился с просьбою Христос.

О как понять мне эти знаки,
И огласовки, и цифирь,
Когда в душистом полумраке
Ликует птичий богатырь.

Он маленький, почти бесцветный,
И не блестящ его полет,
Но гениально неприметный,
Он так поет, он так поет...

1988

ИСТОРИК

Бумаг сказитель не читает,
Не ищет он черновиков,
Он с былью небыль сочетает
И с путаницею веков.

Поет он о событиях бранных,
И под рукой дрожит струна...
А ты трудись в тиши, в спецхранах,
Вникай пытливо в письмамена,

И как бы ни был опыт горек,
Не смей в молчанье каменеть:
Мы слушаем тебя, историк,
Чтоб знать, что с нами будет впредь.

1988

ЗАМЕТКИ О ПРОЗЕ

Как юности луна двурогая,
Как золотой закат Подстепья,
Мне Бунина сияет строгое
Словесное великолепье.

Как жажда дня неутоленного,
Как сплав пожара и тумана,
Искрясь, восходит речь Платонова
На Божий свет из котлована.

Как боль, что всею сутью познана,
Как миг предсмертный в душегубке,
Приказывает слово Гроссмана
Творить не рифмы, а поступки,

Как будто кедрача упрямого,
Вечнозеленое, живое
Мне слово видится Шаламова —
Над снегом вздыбленная хвоя.

1988

* * *

Бык сотворен для пашни,
Для слуха — соловей,
А камень — тот для башни,
А песня — для людей.

Для нас поет и нива,
Чья дума высока,
И над рекою ива,
Да и сама река,

И море, где сиреной
Обманут мореход,
И горе всей вселенной
По-русски нам поет.

1988

НЕОПАЛИМОВСКАЯ БЫЛЬ

Как с Плющихи свернешь, — в переулке,
Словно в старой шкатулке,

Три монахини шьют покрывала
В коммуналке подвала.

На себе-то одежда плохая,
На трубе-то другая.

Так трудились они для артели
И церковное пели.

Ладно-хорошо.

С бельэтажа снесешь им, вздыхая,
Колбасы, пачку чая,

В самовар огонечку прибавят,
Чашки-блюдца расставят,

Дуют-пьют, дуют-пьют, все из блюда,
И чудесно смеются:

«С полтора понедельника, малость,
Доживать нам осталось».

Скоро Пасха-то. — Правильно, Глаша,
Скоро ихня да наша».

Ладно-хорошо.

Мальчик жил у нас, был пионером,
А отец — инженером.

Мягкий, робкий, пригожий при этом,
Хоть немного с приветом:

Знать, недуг испытал он тяжелый
В раннем детстве, до школы.

Он в метро до Дзержинской добрался
И попасть постарался,

Доложил: «Я хочу, чтоб вы знали:
Три монашки в подвале

Распевают, молитвы читают
И о Боге болтают».

А начальник: «Фамилия? Клячин?
Хитрый враг будет схвачен!

Подрастешь — вот и примем в чекисты,
Да получше учись ты».

Трех, за то что терпели и пели,
Взяли ночью, в апреле.

Три души, отдохнув, улетели
К солнцу вербной недели...

Для меня, вероятно, у Бога
Дней осталось немного.

Вот и выберу я самый тихий,
Добреду до Плющихи.

Я сверну в переулок знакомый.
Нет соседей. Нет дома.

Но стоят предо мною живые
Евдокия, Мария,

Третья, та, что постарше,— Глафира,
Да вкусят они мира.

Ладно-хорошо.

1988

АНГЕЛ ТРЕТИЙ

Водопад вопит из раны,
Вся река красна у берега,
Камни древние багряны
Возле мертвого ковчега.

Внемля воплям и безмолвью,
На распахнутом рассвете
Над странною чашу с кровью
Опрокинул ангел третий.

1989

* * *

Жил в Москве, в полуподвале,
Знаменитейший поэт.
Иногда мы с ним гуляли:
Он — поэт, а я — сосед.

Вспоминал, мне в назиданье,
Эвариста Галуа,
И казалось: мирозданье
Задевает голова.

Говорил, что в «Ревизоре»
Есть особый гоголин.
В жгучем, чуть косящем взоре
Жил колдун и арлекин.

Фосфор — белый, как и имя,—
Мне мерцал в глазах его.
Люцифер смотрел такими
До паденья своего.

1989

АХМАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В БОСТОНЕ

Здесь все в себе таит
Вкус океанской соли.
В иезуитской школе
Здесь памятник стоит
Игнатию Лойоле.

А та, что родилась
На даче у Фонтана
В моей Одессе,— Анна
Здесь подтверждает связь
Невы и океана.

Пять светлых, важных дней
Богослуженья мая,
Соль вечности вдыхая,
Мы говорим о ней,
О жительнице рая.

1989

БЕГСТВО ИЗ ОДЕССЫ

В нем вспыхнул снова дух бродяжеский,
Когда в сумятице ночной,
Взяв саквояж, спешил по Княжеской
Вдвоем с невенчанной женой.

Обезображена, поругана,
Чужой становится земля,
А там, внизу, дрожат испуганно
Огни домов и корабля.

Еще друзья не фарисействуют,
Но пролагается черта,
Чека пока еще не действует
У Сабанеева моста.

И замечает глаз приметливый
Дымок, гонимый ветром с крыш,
И знает: будут неприветливы
Стамбул, София и Париж.

Нельзя обдумывать заранее
События предстоящих лет,
Но озарит его в изгнании
Дороги русской скорбный свет.

1989

1919

Разбит наш город на две части,
На Дерибасовской патруль,
У Дуварджоглу пахнут сласти
И нервничают обе власти.
Мне восемь лет. Горит июль.

Еще прекрасен этот город
И нежно светится собор,
Но будет холод, будет голод,
И ангелам наперекор
Мир детства будет перемолот.

1989

В САМАРКАНДЕ

Готовлю свое изделие
Во всей восточной красе,
Пишу в Самарканде в келье
Старинного медресе.

Художница-ленинградка
За толстой стеной живет,
И тень огонька лампадка
Бросает на старый киот.

Отца единого дети,
Свеченье видим одно,
И голуби на минарете
Об этом знают давно.

1989

ДУБ

Средь осени золотоцветной,
Как шкурка молодой лисы,—
Стоит, как муж ветхозаветный,
Дуб нестареющей красы.

Ему не надобно движенья,—
Он движется в себе самом,
Лишь углубляя постиженье
Того, что движется кругом.

И он молчит. Его молчанье
Нужней, прочнее тех словес,
Что в нашем долгом одичанье
Утратили свой блеск и вес.

Принять бы воспритьем дуба
День, час, мгновенье в сентябре,
Но вечности касаюсь грубо,
Притронувшись к его коре.

1989

ПОЖЕЛТЕВШИЕ БЛОКНОТЫ

Что буравишь ты, червь-книготочец,
Пожелтевших блокнотов листы?
Неудачливых строчек-пророчиц
Неужель опасешься ты?

Робкий в жизни, в писаниях смелый,
Черноморских кварталов жилец,
Их давно сочинил неумелый,
Но исполненный веры юнец.

Дышат строчки незрелой тревогой,
Страшных лет в них темнеют черты.
Уходи, книготочец, не трогай
Пожелтевших блокнотов листы.

1989



ПОЭМЫ

ВОЖДЬ И ПЛЕМЯ

ТУМАН В ГОРАХ

Кавказская быль

1

Щемящее, томительное чувство
Овладевает мною всякий раз,
Едва лишь удаляюсь я от моря:
Не потому ли, что в моем сознании
Свобода с морем слиты навсегда,
А трудно удаляться от свободы?
День исчезает в поле, в хмурых балках,
Одетых слабым льдом, в кустах кизила,
И начинается подъем за темной
Бездействующей вышкой нефтяной.
Машина втянута в спираль дороги,
Кружась, мы едем вверх, и вместе с нами,
Под нами пропасть кружится,— то справа,
То слева. А вдали вершины гор
Стоят, как пастухи, слегка ссутулясь.
Порой в уступах скал мелькнет селенье,
И так как стекло мы не видим в окнах,—
Дома похожи на пустые соты,
Повисшие обломком восковым.
Мы чувствуем, что сесть бояться птицы
На телеграфный провод, что ключи
Своими журавлиными очами
С испугом озирают мост, лежащий
Над бездной, что ревущая река
С опаской некогда глядела вслед
Связистам и строителям дороги.

А между тем стемнело. Серой мглою
Наполнилось ущелье. Даже пропасть
Густою затянуло пеленой.
Включил водитель фары, но полоска
Беспомощно мятущегося света
Никак не может землю отыскать.

Вдруг два огня, как две звезды падучих,
Зажглись, потом замедлили паденье,
Безумным блеском просверлив туман.
Мотор замолк, мы вышли. Оказалось,
Что это свет машины отражался
У буйвола в глазах: теперь они
Смотрели равнодушно и покорно.
И так же равнодушно и покорно
Сошел с арбы, не торопясь, колхозник
В дырявой бурке и в бараньей шапке,
Огромной, словно сена черный стог.
Приблизясь к буйволу, он дернул повод,
Чтоб нам дорогу дать, и мы смутились,
Когда большое колесо арбы
Над бездною клубящейся взметнулось.
Потом остановился он, как будто
Хотел сказать нам слово.

Что прочли мы
На выцветшем, морщинистом лице,
В усах обвислых и в глазах недвижных?
Но то ли мы прочли, что нам нельзя
Так холодно и молча так расстаться,
Что дело не в его папахе черной
И сыромятной обуви, не в наших
Пальто из коверкота или в шляпах
Велюровых, что связаны мы кровным
И добрым братством, что среди тумана,
Окутавшего бездну и утесы,
На этом узком выступе земли,
Друг к другу мы должны тесней прижаться,
Как дети матери одной... Шофер,
Обидчивый и хитрый ярославец,
Был тоже чем-то пристыжён, казалось:
— Куда их черт несет, националов,
В такой туман! Погибнет магомет! —
И выругался...

И опять прорезан
Полоской света нашего туман,
И странно, что в подобной мгле всеобщей
Есть все-таки земля, и мы по ней
Вздыхаемся в своей коробке тесной.
Но вот она рождается, — земля,
Та самая, что всюду, вечно с нами,
В начале жизни и в ее конце.

Еще неясны, бледны очертанья
И цвет ее, она еще не резко
Отделена от рыхлого тумана,
Но как она заморозила нас,
Хотя мы на нее глядим впервые!
И может быть, у всех возникла мысль
О том, что где-то, далеко отсюда,
Томится чья-то мрачная душа
По этим скалам, с детства ей знакомым,
И согласится с радостью погибнуть
За то, чтоб здесь побыть один лишь день,
Одну лишь ночь пред гибелью своею.

Тогда-то и увидели мы чудо:
Над нами, над зигзагами дороги,
Над мокрыми альпийскими лугами,
Над пропастью, над рощей тополевой
Сиял аул, затерянный в горах.
Как ясно здесь, как величаво-тихо!
Дорога серебрится, как наждак,
И тем страшней для нас ее извивы,
Что стали явственны. Меж двух утесов
Блестит десятидневная луна,
И круг ее неполный как-то ближе,
Милее электрических огней.
Так много жизни в этом лунном свете,
Что даже русло высохшей реки
Нам кажется трепещущим, веселым.
Темнеют на дороге тополя,
Как будто поднимаются к святыне
Паломники в молчании глубоком,
Тяжелый путь оставив за собой.

Так неужели здесь вершина жизни?
Мы въедем на машине грязной, темной
В аул, как небо звездное горящий.
Для нас уже хозяин варит мясо,
Оно лежит в корытах деревянных,
Приправленное горным чесноком.
Бурдюк наполнен виноградной водкой,
Нас ждет хинкал с подливой на столе.

А поутру с угарной головою
Проснемся мы и выйдем подышать
Хрустальным воздухом на крышу сакли.

Внизу увидим улицы кривые,
На крышах — садики, а наверху —
Осеннее негреющее солнце.
Там высота уходит в высоту,
Там беспредельность льется в беспредельность,
Но там живут, и ярусы аулов
Бегут к вершинам, где пылает снег
Своей первоначальной белизной.
Но люди есть, я слышал, и над ними.
Вчера, изрядно выпив, наш хозяин,
Уполномоченный Заготскота,
Рассказывал: недавно, в октябре,
Была в горах охота на чеченца.

2

Над ним смеялась мать: хотело солнце,
Чтоб вырос он быстрее, и мальчугана
Оно тянуло за уши безбожно.
И впрямь — он стал большим, широкоплечим,
Но уши так уродливо торчали,
Особенно в те дни, когда носил
Он городскую кепку. Но и ныне,
Когда, как зверь, блуждает он в горах,
Худой, голодный, грязный, бородатый,
Когда, как зверь, неслышно он ступает,
Когда, как зверь на собственную лапу,
Он смотрит на винтовку без патронов,—
И ныне поразили бы наш взор
Вот эти оттопыренные уши,
Придавленные шапкой из овцы.
Но в эти уши, ставшие полезной
Приметой для розысков,— стучались
Все беды мира, все его дары:
И дудки чабанов высокогорных,
И шорох несмышлениша-ягненка,
И жуткое дыхание овчарки,
И тот гортанный голос родника,
Что так похож на материнский голос,
И еле уловимый шум травы
Под сапогом казенным...

Так три года
Он жил в пещере, инженер-нефтяник.
Не знаю, что он вспоминал: Москву,

Театры, общежитье на Стромынке,
Светлану — машинистку из Грознефти?
Угрюмым не был он. В глубоких, зорких
Не по-славянски голубых глазах
Луна блистала, солнце ликовало
И каждый день рождался мир: и реки,
И облака, и просыпался лес
Под ледниками вечными. Не знал он
И одиночества. В его душе
Звучали голоса друзей, соседей,
Родной семьи, и он со всеми вел
Горячую и долгую беседу,
В покорности тупой не попрекал их
И не хвалил себя. Он был не прочь
И девушку обнять, и крепко выпить,
О, далеко не прочь! Когда он понял,
Что будет выселен его народ,—
Об этом слухи в городе ходили,—
Он сел на лошадь и поехал в горы,
Чтобы своим помочь и вместе быть.
Их ночью увезли, февральской ночью,
И рядом с инвалидами войны,
В трехтонках, на сиденьях из досок,
Среди механиков и звеньевых,
Сажали и беременных детьми,
Зачатыми на родине, теперь
У них отобранной.

А он остался.

А он остался. Разве думал он,
Что скроется, оружие раздобудет?
Со всеми собирался он уехать
И разделить великую тоску,
Но он остался. Кем же был он? Птицей,
Орлом, который создан, чтоб летать
В родных горах,— и он в горах остался.
Не потому благоухает роза,
Что людям радость принести желает:
Она должна благоухать, чтоб жить.
А что такое жизнь для человека?
Быть человеком — значит быть свободным.
В его свободе сумрачной жила
Свобода нищих, угнанных, презренных.
Нет, одиноким не был он в горах,
Он был народом, он остался дома.

Его искали. Спецпереселенец,
Его далекий родич, был направлен
Из Казахстана, чтоб его сманить,
Но не нашел его и был посажен.
Чекист-чеченец, продолжавший службу,
Устроил на него в горах облаву,
Но безуспешно. Красноглазый тур
От скуки заглянул к нему в пещеру,
Но был убит и съеден. А в апреле,
Когда обвалы начались, а речка
Была сера от мусора весны,
К нему пришла знакомая, верней,
Подружка, выросшая в доме брата,
Иль это померещилось ему? —
Кавказская овчарка. — Барза, Барза! —
Обрадованно вскрикнул он, узнав
Жестокие глаза, теперь большие,
Большое, обессиленное тело,
Отрезанные уши, куцый хвост.
А впрочем, всем овчаркам отрезали
И хвост и уши, чтоб не рвали волки,
Когда на стадо нападут, — но так
Ему хотелось верить: это — Барза,
Приятельница брата-чабана.
Она была больна и умирала.
Не потому ли приползла к нему,
Чтоб возле человека умереть?

То жизнь, то жизнь сама явилась вдруг
К нему в пещеру: умирает близкий —
И это жизнь, а жизнь без близких — смерть.
Он рассуждал с ней о себе, о брате,
О ней самой — чеченскими словами,
Хотя неважно знал родной язык.
А ранним летом, закопав ее
Вблизи пещеры, он заплакал. Он
Заплакал в первый раз с тех пор, когда
Один остался, чтобы стать народом.
Так наступила осень.

Что же делать
Теперь, когда иссяк запас патронов?
Недавно полумертвого барашка
Нашел он у реки, но, может быть,
Барашек был из жалости подкинут
Каким-нибудь бесстрашным пастухом?

Ушли стада на зимние кутаны,
На берег моря. Опустели горы.
Уже на уровне утесов острых
Шел снег, как будто с белого орла
Валились перья, быстро исчезая
Во времени, в пространстве ледниковом.
Олень мелькнет на круче,— не догнать,
А тура не убить. Что делать дальше?
Пришла пора смириться?

3

Он идет,
Куда — не знает, вниз идет, в ущелье,
А рядом, словно младшая сестренка,
Бежит, смеется звонкая река.
Он человек. Он старше этой речки
И снеговых утесов и лесов.
Их детской красоты не замечая,
Приметы человека ловит жадно:
Пастушескую сломанную палку
С крючком, кусок газеты непонятной
И то, в чем не нуждался так давно:
Блестящий гривенник. Внизу, в ущелье,
Уже чернеют каменные гнезда:
Жилье людей. Он слышит водопад.
Как шумные конвейерные ленты,
Сбегают с высоты потоки влаги,
Они в счастливой ярости дробят
Камень, сотворенные природой
И человеком. Белое строенье
С проемами прямоугольных окон,
Украшенных орнаментом восточным,
Заброшено и поросло крапивой.
Моторы, как при бегстве, позабыты,
И бурая, как таволжника листья,
Их ржавчина покрыла: не нужна
Электростанция пустым аулам,
И алчно волей дышит водопад,
Как лагерник, отбывший срок...

А вот и наконец родной аул.
Дорожка, по которой шли горянки,
Подняв кувшины на плечи и сами
Похожие на стройные кувшины.
Правление артели «Красный горец».

Мечеть, что превратили в семилетку.
Кладбище с надписями по-арабски,
С шестью возле памятников: знак,
Что погребен лихой джигит, абрек.
Колхозный клуб. Обугленные печи
Для выпечки чуреков, где, бывало,
Судачили соседки о мужьях,
О детях. И дома, дома, дома,
Где люди жили, мучились, любили,
Где ели, пили, плакали, смеялись,
Молились Богу, отрицали Бога,
Доносы сочиняли, пели песни,
Работали, учились, узнавали,
Что мир велик, что кружится земля.

Казалось, все они сейчас на сходке,
Иль собрались на скачках за оврагом,
Сейчас они придут, и дым кизячный
Взойдет, и кукурузное тепло
По улицам горбатым разольется...
Нет, не придут. Лишь облако седое,
Как дед, вступает в дом, раскрытый настежь.

Он, постояв, помедлив, тоже входит
В родимый дом, родимый — и ужасный,
Живой — и мертвый, мертвый. Почему-то
Снята, прислонена к стене саманной
Покрытая арабской вязью дверь.
На ней зарубки: это отмечали
Родители, насколько мальчик вырос.
Он помнит, звал его отец: — Ушастый,
Иди сюда! — и волосы густые
Он прижимал пастушеским ножом.
А дом построен прочно и недавно.
Одна лишь балка старая видна:
Отец извлек ее из сакли деда
И вбил под крышу, чтобы новый дом
Навеки сохранил о предках память.
Скамеек нет, но стол еще стоит.
На таганке — казан, покрытый жиром,
Застывшим вместе с ржавчиной. Еще
Не выцвела страница из тетрадки.
Прочел: «Зима. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь». Учитель,
Абубекир Алиевич, зеленым

Карандашом исправил «торжесвуя»
И вставил «т». И может быть, в теплушке,
Битком набитой, долгими часами
Стоявшей посреди сухой пустыни,
Учитель слушал детский плач, проклятья
Старух и, мягко улыбаясь, думал
О нем и о его тетрадках глупых...
Сюда не захотели дагестанцы
Переселиться, на слезах соседей
Не захотели вырастить посевы,
И ничего не тронули...

И вдруг

Его так властно потянуло к людям,
К сердечному теплу, к словам, к проклятьям,
И просто к очагу, и просто к дому,
И просто к хлебу после трудового
Большого дня.

И он спустился вниз.

Ползли ему навстречу змеи дыма,
Покуда не слились в сплошной туман.
Он долго шел, не трепеща впервые
Пред шумом собственных шагов и шумом
Невидимой реки. Чутьем, каким
Одни лишь горцы обладают, понял,
Что вышел на поляну. Услышал
И различил во мгле овечье стадо.
Кругом валялись трупики животных.
Насытили кавказские овчарки
Свою жестокость: с миром примирившись,
Храпели у потухшего костра.
Два пастуха в косматых черных шубах
Спиной к нему на корточках сидели,
Наверное, забылись в полусне.
Они, как видно, к пастбищам приморским
Спустились поздно, их застиг в горах
Ночной туман. Изнемогало стадо
От голода. Он подошел поближе.
Царапали измученные овцы
Сырой и скудный прах, еще надеясь
Листок неотгоревший отыскать.
Их мордочки, их тоненькие ножки
Покрылись кровью. Сдержанным, бляеньем
Вселяли веру матери в детей
И грызли землю.

Он подполз к отаре
И на руки ягненка взял. Как много
Нам, людям, говорит прикосновенье
К теплу трепещущему и живому,
К теплу другого существа! Какая
Была под мокрой шерстью сила жизни,
Как заставляла жить! Но где же сила,
Что помогает умирать? Подумай:
Ты хочешь жить, в остервененье диком
Царапаешь ты землю,— для чего?
Чтобы потом упитанность твою
Хвалил хозяин? Кто же твой хозяин?
Кто вдруг решил, что сила жизни — слабость,
Влекущая к позору и ярму?
А мы пренебрегаем смертью. В этом
И есть отличие силы от насилья,
Которое, бессильем рождено,
Всегда боится смерти.

И они,
Те, что сейчас, в своих черкесках рваных,
С тоской глядят на проходящий поезд
Средь азиатских, чуждых им песков,
Бессильные, казалось бы,— они
Воскреснут, как весна. И, как весна,
Они сюда вернуться, в эти горы,
С детишками, рожденными в изгнанье,
И с букварем чеченским, утаенным
От глаз комендатуры.

Так, увидев,
Двух пастухов из племени чужого,
Желая и страшась беседы с ними,
Он узнавал в тумане очертанья
Иных вершин и далей, твердо зная,
Что хочет жить, что будет жить, что в нем
Заклучено бессмертие людское,
Что он — народ.

1952—1953

1

Слышал я, что не чужды и животным
Подвижничество и борьба со злом.
В их взоры взором глянув мимолетным,
Мы человеческое узнаем.
Забуду ли тебя, кобылка Ная,
Калмыцкого тавра, светло-гнедая?
Сдружила нас военная гроза.
Забуду ли блестящие глаза
И темную тоску того сарая,
Где мы от немцев прятались вдвоем,
Вдыхали молча каждый о своем?

2

Но все же в человеке есть отличие,—
Мой друг иль враг, ты мне не прекословь,—
Его погибель и его величье,
Не только дух, но плоть его и кровь.
В животном порознь и живут, быть может,
Но только человек их свяжет, сложит —
Вот эти, созданные для родства,
Два радиоактивных вещества,
Чья связь, возникнув, нелюдей тревожит.
Она умрет, чтоб возродиться вновь,
Ее названье — разум и любовь.

3

Об этом много создано рассказов,
Один из них в душе моей живет.
На Черном море я узнал абхазов,
Частицу человечества, народ.
Когда из камня горя и обиды

В Египте воздвигались пирамиды,
Они в давиленьях делали вино,
Накапливали теплое руно,
Стреляли диких коз в лесах Колхиды
И пели по наитью, без забот:
Так утверждает честный Геродот.

4

Их научили греки иль грузины,
Крестясь, взывать к распятому в мольбе,
А на иных кричали муэдзины
И призывали к праведной борьбе,
Но до сих пор язычества герои
Им слышатся в горах, в морском прибое.
Есть новые предания. Одно
Я приведу. Уверен я: оно
Имеет отношение прямое
К судьбе земли, к моей судьбе, к тебе
И к органам НКВД — ГБ.

5

А кто же зачинатели былины?
Те дни, что на глазах у нас прошли,
Когда родные замерли долины,
Чужие были в море корабли.
Году в двадцатом, в домике крестьянском,
Найдя приют в семействе мусульманском,
Скрывался Нестор, видный большевик.
Хозяин к неизвестному привык.
Тот о житье-бытье своем цыганском
Рассказывал, о новостях земли,
Гремевших от Абхазии вдали.

6

Поджарый, сухощавый, как борзая,
Смотрел он много вечеров подряд
Сквозь узкое отверстие сарая
На удивительный земной наряд.
Здесь кипарис — ближайший друг березы,
Здесь льнут к рябине винограда лозы,
Здесь нам являют благородный нрав
Союз деревьев, сотрудничество трав,

Порфир вершин и жгучих долов розы,
И фиговые ветви, и гранат —
Славянских яблонь закавказский брат.

7

Иль призрачно согласие природы?
Иль, может быть, вражду от нас тая,
Сражаются деревья, как народы,
И в той войне — начало бытия?
Не забирался Нестор в эти выси.
Он думал, что меньшевики — в Тифлисе,
Что в ожиданье вялом нет добра,
Но действовать не пробил пора,
Что нужен не тигриный ход, а лисий,
Что в этом доме славная семья,
Что хороша, как счастье, Сария.

8

Но что такое счастье? Утвержденье
Заманчивых, заимствованных фраз?
Родного племени освобожденье?
Быть частью взрыва, что весь мир потряс?
Расчетов упоительная битва?
Ловцов удачи хитрая ловитва?
Над подчиненными такая власть,
Чтоб страшно было им тебя проклясть
Затем, что ты незыблем, как молитва?
Иль божий блеск влекущих карих глаз?
Он сам не знал в тот беспокойный час.

9

Не задавала этого вопроса
Шестнадцатая девичья весна,
Когда, лицо прикрыв рукою косо,
С ним трепетно здоровалась она.
Вот это счастье — постаревший рано,
С отцом и братом рассуждавший странно,
Небритый, невысокий человек,
Который домогательства пресек
И божества неверных, и Корана,
И для которого судьба ясна —
И даже та судьба, что ей дана!

Законы защищая новой жизни,
 Он слушал со вниманием отца,
 Чьим разговорам о дороговизне,
 Как ей казалось, не было конца.
 Он разъяснял московские декреты,
 Их смысл, дыханьем Ленина согретый,
 Он вел повествование свое,
 Не глядя на нее, но для нее,
 И по хозяйству он давал советы,
 Взволнованные трогая сердца,
 Как скрипка винодела — апхярца.

Он с ними распрощался, как мужчина,
 Что прадедов обычаи берег.
 Отведал из холодного кувшина
 Домашнего вина отменный рог.
 Благодарил почтительно, но ровно,
 С достоинством, весьма немногословно.
 В седло вскочил и — в бурке, в башлыке —
 Погнал коня, мелькая в тростнике.
 Хотя бы раз взглянул ли он любовно?
 Но Сария не вышла на порог,
 К началу новых для нее дорог.

Какое дело до ее мечтаний
 Всему, что завертелось на земле!
 К себе домой уходят англичане
 И поднят красный флаг в Сухум-Кале.
 Хотя сера газета, бледны краски,
 К ним прибыл свежий лист как бы из сказки,
 Принес крестьянам Нестора портрет.
 С заслугой на груди, во френч одет,
 С трибуны он смотрел, как вождь абхазский.
 Газета перед всеми на столе,
 А он пред ней уносится в седле.

Настало утро, теплое, сырое.
 Причалил из Батума пароход
 К сухумской пристани. В гудящем рое

Есть пчелка, что особый ищет мед.
Она как бы не видит греков в фесках,
Ни франтов в ноговицах и черкесках,
Ни с гор сошедших медленных крестьян,
Ни в фаэтонах едущих армян,
Ни томных, грустных маклеров одесских,—
Ремесленный, торгующий народ,
Узнавший Красной Армии приход.

14

Южанин до конца самонадеян,
И югом здесь дышало все кругом.
Но что ей говор маленьких кофеен
И шум толпы на берегу морском?
Да и ее в толпе не замечали —
Крестьянскую девчонку в черной шали,
С картонкой довоенною в руке
И в лодочках на низком каблуке.
А путь — он так ей страшен был вначале —
В гостиницу «Ривьера» всем знаком:
В «Ривьере» помещается ревком.

15

Рассказывают — верить ли рассказу,—
Ее увидел Нестор из окна.
Но, может быть, он вышел к ней не сразу,
Как только понял, что пришла она?
В ее глазах прочел он постоянство,
Что было светлым, вольным, как пространство,
И крепче гнева брата, и угроз
Отца, и горьких материнских слез,
И крепостной твердыни мусульманства...
Он понял все, он ей воздал сполна,
Сказал в ревкоме: «Вот моя жена».

16

Учитель русского и рисованья
Казался ей предтечею добра.
Пора любви, пора образованья,
Державности весенняя пора!
Все созидалось в эти дни впервые:
И фабрики, и гимны боевые,

Чека, больница, трактор и букварь —
Судеб живой и мертвый инвентарь.
Как часто начинанья роковые,
Такие безобидные вчера,
Вдруг обретали ярость топора...

17

В роскошных галифе, в военных звездах
Приходит праздник, весело сверкнув.
Стреляют не в людей, стреляют в воздух:
У Нестора родился сын Рауф.
Сидят, блистая в именитом круге,
Народа общепризнанные слуги,
Едят, острят и много, долго пьют,
И должное хозяйке воздают —
Достойной, верной, любящей супруге.
Она к ним входит, голову пригнув,
Еще как следует не отдохнув.

18

Их дом стоял как башня кондотьера.
Сбегала полукругом крутизна,
А впереди — субтропиков Ривьера,
Пологий спуск, асфальт, голубизна.
Здесь цветники пестрели, повторяя
Средневековую картину рая,
И водопада мерные струи,
И мебель по рисункам Сарии —
Красавицы и первой дамы края,
С которой — знали все — была дружна
Лукавого Лаврентия жена.

19

Два имени при Сталине звенело:
Лаврентий и Серго. Солдат, нарком,
Серго был сотоварищем картвела,
И Ленину он лично был знаком.
Существовал без прошлого Лаврентий.
В черкеску иль во фрак его оденьте,—
От века неизменен он всегда.
Подумав «нет», с улыбкой скажет: «Да».

Опричника в полуинтеллигенте
Вождь разгадал сейчас же: в чем другом,
А в этом деле был он знатоком.

20

Здесь часто отдыхал в приморской вилле
Отец народов, мудрый корифей.
В приморской вилле Нестора любили
И баловали ласкою своей.
Да, Сталин отдыхал. Многоязыкий
Восточный край приятен был владыке.
Здесь даже иерархия вершин
Была железным следствием причин,
И член ЦК, безвестный и безликий,
Казался повелителю милей
Всех громких лидеров тогдашних дней.

21

Еще в Москве есть прежнего отростки,
Ветвистый ствол еще не истреблен.
Сквозь все пенсне поглядывает Троцкий
И недобиткам имя легион.
Зиновьев образован, хоть бездарен,
Надменен Каменев — еврейский барин,
Вертлявый Радек просто надоел,
И Томский что-то не по чину смел,
И ненавистен грамотей Бухарин,
А здесь лишь он один блестящ, умен,
Здесь — миродержец и вожди племен.

22

Под сенью эвкалипта, у залива,
Не здесь ли, как прилежный садовод,
Неторопливо, тихо, терпеливо
Выхаживал он каждый грозный плод?
Не здесь ли, южным осенен покоем,
Он понял: «Ничего мы не устроим,
Пока не будут в пыль превращены
Мешающие жители страны.
Их надо снять и срезать. Слой за слоем».
Не здесь ли он взлелеял твой приход,
Тридцать седьмой, жестоковыйный год?

И двинулась Россия: малoverы;
 Комбриги; ротозеи; мужики;
 Путиловцы; поляки; инженеры;
 Дворяне; старые большевики;
 Ползучие эмпирики; чекисты;
 Раскольники; муллы; эсперантисты;
 Двuruшники; дашнаки; моряки;
 Любовницы; таланты; дураки;
 Предельщики; лишенцы; виталисты;
 Соседи; ленинградцы; старики;
 Студенты; родственники; остряки;

Алашордынцы; нытики — короче,
 Все те, которых жареный петух
 В зад не клевал — на край полярной ночи,
 Туда, где свет, едва взойдя, потух,
 В тайгу, в цингу, без права переписки.
 Там никому не ставятobeliski,
 Там и без газа человек горел.
 А за расстрелом следовал расстрел,
 От близких отворачивался близкий,
 По капле капал яд,— сочился слух,
 И смрадно гнил, изнемогая, дух.

Лавретий Нестора спросил с улыбкой:
 «Какое имя, друг, тебе дано?
 Слышал я — не шути с такой ошибкой,—
 Что псевдоним ты выбрал в честь Махно».—
 «Мне имя Нестор дали при крещенье».—
 «Ну, не сердись».— И словно бы в смущенье,
 Абхазского он обнял главаря.
 Но понял Нестор: сказано не зря,
 Нет, не случайным было посещение!
 С Лаврентием он враждовал давно.
 Вражда бурлила скрытно, как вино.

Мы грешники от мала до велика.
 А все же мир воздвигся на святом.

Где ж праведник? Искать его начини-ка,—
Он среди нас и в нас, мы с ним растем.
Нередко так же, как и мы, корыстен,
Он сам себе до боли ненавистен,
Тщеславен, и коварен, и труслив,
И жалок, и жесток, и похотлив,
Он жаждет вместо горьких — ложных истин.
А в чем же, спросишь, святость? Лишь в одном:
В том идеале, что не гаснет в нем.

27

Случается, что идеал ничтожен,
А сам-то праведник смешон и мал,
Но ты сумел бы вынуть меч из ножен,
Как он пойти на смерть за идеал?
И Нестор тоже грешен был во многом.
Он унижался пред горийским богом,
Он знал, какие хитрости в цене,
Порою шел от правды в стороне,
Порою по кривым ступал дорогам.
Когда же превращался он в кристалл?
Когда он за Абхазию стоял.

28

Он все любил в своем родном народе:
Обычаи, и эпос, и князей,
Которых он оставил на свободе
И как бы превратил в живой музей.
Он выселял абхазов с неохотой,
Кулак уничтожался разве сотый,
И то, коль Нестор к стенке был приперт.
Он был в своей приверженности тверд.
Абхазия была его работой,
В московских наркоматах понужней
Он для нее выискивал друзей.

29

Того, кто хочет Сталина постигнуть,
Одна его причуда удивит:
Различья истребив, решил воздвигнуть
Он на Кавказе некий монолит.
Париж, как говорится, стоит мессы,—

К чему ж абхазы, разные черкесы?
И Нестор как-то стал ему не мил.
А тут еще Лаврентий навредил:
У Нестора свои, мол, интересы,
Он в сторону Серго всегда смотрит,—
Его помощник это подтвердит.

30

Серго же ненавидел всей душою
Лаврентия: «Муссаватист и вор!
Шестерка с биографией чужою,—
Как вождь его не понял до сих пор?
Развратник и убийца,— на Кавказе
Он стал источником зловонной грязи,
Неслыханных предательств и обид.
Он скоро наши кадры истребит!»
Так (мысленно) Серго кричал в экстазе,
А с Нестором, в кругу абхазских гор,
Был у наркома тихий разговор.

31

В Москве очередной закончен пленум.
Серго абхаза к Сталину привел.
Тот встретил их во френче неизменном,
Руки не подал. «Разжирел, орел!» —
Так он Серго приветствовал, не глянув
На Нестора... На полочках — Плеханов,
(Тома разрозненные), на стене —
На кнопках — Пушкин, и сосна в окне,
И несколько бутылок и стаканов,
Которыми уставлен белый стол,
И чисто вымыт деревянный пол,

32

И дышит где-то за стеной охрана,
И все же не тускнеет ореол,—
Вождь смотрит остро, огненно и пьяно,—
И жест небрежный: появились, мол,
Так пейте «Двин», он стоит много денег...
Тут Нестор про Лаврентия: «Изменник,
Себе в республике, вождю во вред,
Он ложный создает авторитет».

Стакан пригубил вождь: «Кинто, мошенник,
Он сам себя в марксисты произвел!»
Был добродушен смех, а взгляд тяжел.

33

Домой уехал Нестор окрыленный:
Его надежды наконец сбылись!
Он вести, вести ждал определенной,—
Вдруг на бюро он вызван был в Тифлис.
Лаврентий пригласил его на ужин.
Шофер занес «Качича» пару дюжин.
Вернулся Нестор в номер после трех.
Когда же он издал последний вздох?
Он мертвым был в постели обнаружен.
«Стенокардия. Приступ. Сильный криз»,—
На том врачи высокие сошлись.

34

Был с почестями труп его отправлен
В Абхазию. Вскричала Сария:
«Я знаю, ты Лаврентием отравлен,
Мой Нестор, жизнь моя, душа моя!»
Пространный некролог по всем газетам
Прошел в те дни (в республике с портретом).
Но из могилы ночью, через год,
Был труп изъят. Сказали: «Так народ
Решил». Не успокоившись на этом,
Забрали Сарию. Здесь колея
Пройдет ее иного бытия...

35

В Кремле еще не спали на рассвете...
Вдруг, шоферни прервав «ого-го-го!»,
Раздался выстрел где-то в кабинете.
Убит нарком. Но кто стрелял в него?
Самоубийство? Чертова охрана!
Явился вождь, в сапожках из сафьяна
Ступая тихо, грозно, как судьба.
Чуть шевелилась нижняя губа.
Лежал его товарищ бездыханно.
Смотрел с минуту Сталин на Серго.
«Хана!» — сказал он на своем арго.

Но вспомнит ли, когда пред смертью струсит,
 Как тот кричал: «Под мышкой держишь ты
 Лаврентия, а он тебя укусит!»?
 Немыслимой достигнув высоты,
 Поймет ли вдруг, что оказался в яме?
 Заплаканными взглянет ли глазами
 При имени Серго? Чтоб вечным быть,
 Успеет ли Лаврентия убить
 И вновь предстать безгрешным перед нами?
 Но далеко до роковой черты,
 Да и нужна ли вечность для тщеты?

37

А там, в Абхазии, не только море,
 И солнце, и курортные дома,
 И спирт, и мирт, и флирт. Там есть и горе.
 Смотри же, Сария: там есть тюрьма.
 Ей тридцать три. Четырнадцатый сыну.
 Знала труд земли, сухую глину
 И нищий дом, сплетенный из ветвей,
 В Кремле приемы, блеск столичных фей,
 И шум пиров, и мягкую перину.
 Теперь — тюрьма. Как не сойти с ума?
 Она не знает, что идет зима,

38

Что суд идет. Абхазам потрясенным
 Становится известно, что в тиши
 Интриги Нестор плел. Он был шпионом,
 Он резидентом был Кемаль-паши!
 Абхазию хотел отдать он туркам,—
 Недаром склонность к башлыкам и буркам
 Питал он, к феодальной старине!
 Он эту страсть внушил своей родне
 И сослуживцам — жадным, подлым, юрким,
 Разоблаченным ныне. Хороши
 Предатели без чести и души!

39

Лаврентий, постановщик тех феерий,
 Считал, что все участники важны,

Что малых нет ролей, но в полной мере
Суд завершат свидетельства жены.
А школа постановщика известна.
Психологизм и реализм. Уместно
И правильно воссозданный пейзаж.
Грозили. Били. Следователь наш
Давал удар довольно полновесно.
Держали в блоке. И огорчены
Порой бывали грозные чины.

40

Ну, говори. Ну, говори. Ну, шлюха.
Ну, говори. Ну, сука. Шесть ночей —
Допрос. Над ней начальник, возле уха,
Гремит ключами, словно казначей.
Она упорствует: «Он был кристален,
Абхазию он поднял из развалин,
Он был хорошим мужем и отцом,
Железным, твердым сталинским борцом,
Когда узнает, вас накажет Сталин,—
Лаврентия и прочих палачей!»
Так — шесть ночей. А в связке — шесть ключей.

41

Приводят брата. Он безумен, болен:
«Сестра, признайся, Нестор виноват». —
«Хочу, чтоб старший брат мой был доволен,
Но я не помню: разве ты — мой брат?»
Приводят сына. Он — живая рана:
«Смотри, все зубы выбили мне, нана,
Признайся, и отпустят нас домой!» —
«Ты — жизнь моя, Рауф, сыночек мой,
Но разве жизнь творится из обмана?
А зубы... но к чему они? Болят,
Сам знаешь, часто зубы у ребят».

42

За волосом выдергивают волос,—
И вот не стало длинных черных кос.
«Ну, что там эта падла? Раскололась?» —
«Молчит зараза». — «Продолжай допрос».
Она страшна. Она сходна с совою.

И окровавленную головою,
Плешивую, кивает невпопад.
Какой, однако, сильный, чудный взгляд,
Какой горит он верою живою!
Вопрос. Удар. Вопрос. Удар. Вопрос...
Кричать — кричу, а не дождетесь слез!

43

В ее глаза втыкаются булавки,—
И вот не стало умных карих глаз.
Но матерьял, как видно, тугоплавкий,—
Не раскололась и на этот раз.
Но больше не нужны замки, затворы,
Не засверкает больше взор, который
Был чист и жгуч, как разум и любовь.
Она мертва. Ушла из сердца кровь.
Она мертва. Что ж вы молчите, горы?
Ты, в саван облачившийся Кавказ,
Зачем от мира прячешь свой рассказ?

44

Военная зима. Москва в осаде.
Преодолев лефортовский подвал,
Письмо пришло наверх. Читают: «Дяде
Лаврентию...» — Рауф в слезах взывал.
Лаврентий позабыл о нем? Едва ли.
Рауфа вывели и расстреляли.
Ему приснилась перед смертью мать:
«Сынок, ты так не должен был писать.
Поверь мне, лучше умереть в подвале».
А там, в снегах, солдат наш воевал,
Там начинался новый перевал.

45

Еще мы были много лет готовы
Ждать, помнить тех, кто нес тяжелый крест,
Но возвращаются из ссылки вдовы,
Уехавшие в возрасте невест.
Страна присутствует на читках громких.
Мы узнаем ту правду, что в потемках,
В застенках, в пепле, в урнах гробовых
Была жива, росла среди живых,

И вот в ее словах мы слышим емких,
На четверть века взятых под арест:
Теперь им волю дал двадцатый съезд.

46

Абхазская весна. Свободой вея,
Шумит Эвксинский Понт, он бьет в набат.
Снимают изваянья корифея
И ставят Нестора у входа в сад.
Пред памятником — старец на скамейке.
В плаще поверх жилета из цигейки.
Он сух и желт, сутул и горбонос.
Когда-то он производил допрос.
Ему теперь, конечно, три копейки
Цена в базарный день, но тот же взгляд,—
Знакомый взгляд,— что много лет назад,

47

Когда он Сарие в глаза булавки
Втыкал. Живет на пенсию теперь.
Жену похоронил, а дочка — в главке.
Ее смешно он называет «дщерь».
Он кофе в «Амре» пьет, читает книги
О Византии, о монгольском иге.
Играет в нарды. Как его поймешь?
Ведь так на человека он похож!
Но, вспомнив исторические сдвиги,
В открытую не вламываясь дверь,
Ты скажешь людям просто: «Это зверь».

48

Кивнув ему, проходит восьмиклассник,
Сосредоточен, вежлив и упрям,
Весна пред ним шумит, как детский праздник,
Желанный и отцам, и матерям.
А зори все яснее и яснее,
А море все синее и синее,
Оно поет о том, как аргонавт
Плыл к правде средь бушующих неправд,
О здешнем уроженце Прометее,
О будущем, бегущем по волнам,—
Смотри, оно рукою машет нам.

1956—1962

1

Удивительно белый хлеб в Краснодаре,
Он не только белый, он легкий и свежий!
На колхозном базаре всего так много,
Что тебе ни к чему талоны коменданта:
Адыгейские ряженки и сыры,
Сухофрукты в сапетках, в бутылках вино
Местной давки — дешевое, озорное
И чуть мутное, цвета казачьей сабли.
На столах оцинкованных — светлое сало.
И гусиные потроха, и арбузы,
Что хозяйки зимой замочили к весне,
К нашей первой военной весне.

Ты счастливчик, техник-интендант, счастливчик!
Молодой, война прогнала все болезни,
Впереди, — кто знает, что случится впереди,
Как певал твой отец.
Ты побрился утром перед зеркальцем в грузовике,
В боковом кармане запыленной венгерки
Куча денег: дивизионный начфин
Выдал за четыре месяца сразу.
Какой же ты ловкий, техник-интендант!
Ты не только ловкий, — ты удачливый, умный,
И ты не убит, и умеешь обращаться с начальством,
И как тебя красит степной, черно-красный загар!

Пять полуторок ты раздобыл для дивизии,
Раздобыл за три дня, — и неделя в запасе.
Гуляй!
Документы в порядке, в Краснодаре весна,
Возле мазанки, синей по здешним обычаям,
Где живут какие-то родичи Помазана,
Пять полуторок смотрят друг другу в затылок,

И все они новые, и все защитного цвета,
И густо блестят неровно положенной краской,
И вызывают почтенье к хозяевам дома.
А старенький ваш грузовик, побуревший от пыли,
Помятый войною осколок степи,
Стоит во дворе под широким каштаном.
На зеленых бушлатах в кузове спят шофера,
Когда возвращаются на рассвете от женщин,
А вы с Помазаном на веранде лежите, как боги,
На простынях хозяйских.

Ты пьян от вина, от вкусной базарной еды,
От весны, от ожидания чего-то чудесного,
От того, что ты в городе, где есть вино и бульвары,
Где нет под тобой — седла, пред тобой — врага,
Над тобой — начальника, нет ковыля и полыни.
Вот сейчас
Ты задумчиво прыгнул с открытой площадки трамвая,
Постоял и от нечего делать
Вошел в магазин, где на полках — книги, тетради
Из оберточной, серой бумаги, линейки, пеналы.
Грязно-седая, с накрашенными губами продавщица
Встречает отказом: — Домино и карты — по заявкам! —
А ты несыто, разочарованно смотришь на книги,
И остро вдруг вспоминаешь, что ты — филолог,
И неизвестно зачем покупаешь польско-русский
словарь.

— Вы интересуетесь разговаривать на польском? —
У того, кто спрашивает, нерусский акцент
И пиджак нерусского покроя.
Загорелая лысина круто нисходит на брови,
Тяжелые, черные, как у владык ассирийских.
В запавших глазах — местечковое пламя смятенья,
Горбатый нос облупился, щеки небриты,
Он обдает тебя смешанным запахом кожи,
Конского пота, вина, чеснока и навоза.
Ты выходишь на улицу вместе с новым знакомым.
В Польше он был адвокатом, теперь он сторож
В пригородном совхозе, вон там, за рекою.
Он так тебе рад! Он учился в Варшаве и в Вене,
Был коммунистом, был в Поалей-Ционе,
Теперь увлечен толстовством.
Жестикуюлируя, самозабвенно картавя
(Давно ты заметил, что каждый картавит по-своему),

Путая все диалекты, в ухо кричит имена —
Каутский, Ганди, Бем-Баверк, и Фрейд, и Бергсон.

Подозрительно откровенный,
Он потрясен алогизмом чужого режима,
Жестокий его палаческим простодушьем.
В нашем воистину сильном, державном вожде
Странны черты вождя негритянского племени:
Слабость, свирепость, боязнь и лживость актера.
Странно и то, что Государство, ликуя,
Провозглашает своего человека
Доблестным, добрым, умным, сильным, красивым,
А между тем в учреждениях Государства,
Даже в таких безобидных, как парк культуры,
Продовольственный магазин или почта,
Смотрят на вас как на вора и дурачка
С тысячью мелких пороков...

Твой собеседник взволнован встречей с тобой,
Жаркой возможностью выговориться: так долго
Вел он только с самим собой диалог,—
Но для тебя страшней, чем немецкие танки,
Эти запавшие, с огнем Исайи, глаза,
Эти безумные речи, это знакомство
С ним, интернированным,
И резко, с внезапностью низкой, ты покидаешь его
Посреди весенней толпы, и он поражен
Новой бессмыслицей, чуждым ему алогизмом.
Но так как ты не только труслив и разумен,
Но так как ты человек, то на углу
Ты оборачиваешься и чувствуешь сам,
Что у тебя в глазах мольба о прощеньи.
И он, опавший листок европейского леса,
Тотальным вихрем тридцать девятого года
Занесенный в кубанский совхоз,
Он тоже стоит и без злобы глядит на тебя,
Хотя и насупил свои ассирийские брови.

И вдруг тебе не свойственным провидящим взором,
Быть может, заимствованным
У того человека с глазами Исайи,
Видишь ты лето, грядущее, близкое лето.
Вашей дивизии разрозненные отряды,
Кто на конях, кто пешком, потеряв друг друга,
Мечутся между Сальском и Армавиром.

Черная степь. Лунный серп висит над бахчами,
И кажется, будто на нем — капельки крови.
Все взбудоражены, заснуть в эту ночь не хотят
Ящерицы и цикады, листья и птицы,
И говорят, говорят о войне людей,
Но сами люди молчат, люди — и лошади.
Где-то вдали мелькают какие-то пули, —
Иль то огоньки сигарок? Падучие звезды?
Конников скудную горсть возглавляет калмык —
Толстый от старости кривоногий полковник
С глиняным гладким лицом,
Добрый вояка, герой гражданской войны.
Все ему надоело: безостановочный драп,
Ночи без сна, невозможность сойтись в рукопашной
С колдовским могуществом немцев, длинная служба
С медленным ядом обид, и Курц, комиссар,
Эрудированный товарищ, но жуткий стукач...

— Пан офицер! Панове! Куда вы? Тут немцы! —
Кричит верховой, внезапно возникший из тьмы
И лунным серпом отрезанный от нее.
Он босиком, в ватных штанах и в майке,
Лошадь под ним без седла, в руке — ремешок.
В мире, где головы
Прикрыты военной мощью пропотевших пилотов,
Лысина его — как обнаженное бессилье.
«Пан офицер!» — передразнивает полковник,
И голос его обретает хриплую властность.
— Рубайте его, это немец! — Полковник не знает,
Что снова чумным дыханьем тотального вихря
Подхватило твоего знакомца из Краснодара
Вместе с его совхозом, с его смятением,
Но многоопытный Курц разобрался, к счастью,
И чуточку нервно шутит: — Если бы немцы были

такими!

Это же наш, бердичевский!

Скоро ль конец?

Долго ли будет метаться в южной степи
С овцами-рамбулье адвокат из Варшавы?
Схватят его, превратят в золу?

Или ему иная назначена гибель?

Конников горстка встретится ль с горсткой другой?
Старый калмык, полковник с глиняным ликом божка,
Четверть столетия прослуживший в строю,
Бывший фельдфебелем еще при Керенском, —

Что он, полковник, смыслит в этой войне?
Будет он храбро, хитро, умело сражаться
И непременно вырвется из окруженья,
Но для чего?
Чтобы в ночь под новый, сорок четвертый год
Весь его древний народ выселен был из степи?
Техник-интендант, ах, техник-интендант,
Ничего-то еще ты не понял, ничего ты в мире не видел,
Кроме себя самого!

2

Ты садишься на скамейке в тенистом сквере —
И весьма неудачно: по этой аллее
Все время выходят из штаба фронта
Большие начальники, а у них за спиной —
Позорное, быстрое бегство из Крыма,
Поэтому они особенно жизнелюбивы,
Щеголеваты и деловито-важны.
К тому же тебя немного смущают
Увенчанные шестимесячной завивкой
Разбитные сержанты-девахи в платьях,
Сшитых в генеральских пошивочных.

— Здорово, техник-интендант, загораешь?
До вас обращаюсь, братья и сестры мои! —
Ты поднимаешь голову и видишь Заднепрука —
Сорокалетнего старшего лейтенанта,
Который в твоей кавалерийской дивизии
Давно болтается без назначения.
Коричневые щеки, живые, острые глазки,
Вывороченная, от старого раненья, верхняя губа,
Жесткие, под бобрлик стриженные волосы,
Посыпанные серой солью соликамского лагеря,
Плечи — как печь, облитые голубой венгеркой,
На колоколе-груди — единственная награда:
Новенькая медаль «XX лет РККА».

— Здесь, в городу, одна работа:
Укладка дыма, трамбовка воздуха.
Ты в командировке? Само собой! —
Отвечает он за тебя и садится рядом.
Слова из его изуродованного рта
Выскакивают, как пули, с присвистом резким.
— Был я на парткомиссии фронта —

Восстановили. Честь и совесть эпохи.
Думаешь, просто? С главным добился беседы,
Он меня сразу вспомнил, по Первой Конной.
«Сам, говорит, ожидал, что башку мне снимут
Или отправят в последний рейд, как тебя,
Чистить подковы медведям.
Сталин великий, бывало, покличет меня и Оку,—
Учти — маршала и генерал-полковника,—
Мы перед ним вдвоем поем и танцуем:
Хоть не артисты, а все же верные люди,
Но в голове, понимаешь, другие танцы...
Баба есть? Ничего, заведешь медицинскую.
Ты поезжай, получишь майора и полк!»
Ехать-то надо, но пару деньков отдохну:
Личной жизни совершенно не имею.
Слушай, дай мне пятьсот рублей!

И вы расстаетесь, еще не зная,
Что будете скоро нужны друг другу,
И ты, счастливый блаженным счастьем безделья
И чувством, что всю неделю никому не подвластен,
Спускаешься по улице, вечерней, весенней,
Безо всякой цели, мимо лодочной станции,
К печально ревущей Кубани.
Кажется, будто под нею кузнечный горн,
Так шумно она бурлит.
Кажется, будто вся земля — ее кровник,
Так она грозно и яростно рвется на берег.
Ты смотришь с обрыва,— и река тебя кружит, как
время,
А время бежит, как бешеная река,
Не поймешь по верховьям, каковы низины.
Ты еще здесь, где весна, а время твое — впереди,
Время твое в степи, в июльской степи,
Окруженной врагом.

3

Что же ты видишь на дне времени бурной реки?
Что же ты видишь из щелей НП,
Куда ты направлен начальником штаба?
Займище, донские луга,
Лес на бугре, полосу воды,
Из которой, как пьяные, вылезают деревья,
А рядом с ними — трехмесячный жеребенок

Выходит, будто на цыпочках,
Прижимая мордочку к бабкам...

В окопе, к сыпучей стене,
Приколот бурьяном свежий лозунг:
«Немец не пройдет через Дон!»
На другом берегу с утра взрываются бомбы,
А по ночам вспыхивают ракеты.
Черные от пыли худые люди
Трудно идут, будто работают,
За плечами скарб: шахтеры из города Шахты.
У переправы — столпотворенье,
Великое переселение жителей,
Великая перекочевка скота,
Великий драп вооруженных военных.
Все хотят попасть на паром,
Который в руках вашей скромной дивизии,
Все бегут.

Какой-то лейтенант забрел в сарай
И начал стрелять из парабеллума в воздух.
Проверили документы — все в порядке,
Он помпотех артдивизиона,
Он потерял свою часть.
Говорит, застенчиво улыбаясь:
— Иду из Миллерово на Сталинград.
— Почему стреляли? — Та-ак!

Утро, донское рассеянное утро.
Ветер с востока, из калмыцкой степи,
Веет песком — зыбучим жильем ковыля,
Горько-соленой землей, зноем, древностью жизни,
Теплым кизячным дымом, кумысным хмелем.
Слышится в нем и рев скота четырех родов,
И голоса набегов, кочевий, становий.
А западный ветер
Нежен и мягок, он летит из большого мира,
Изнеженного услугами цивилизации,
Он обрывается торопливо и больно,
Словно свисток манежирового паровоза.

Техник-интендант, ах, техник-интендант,
Знаешь ли ты теперь, как начинается
Кавалерийской дивизии дикое бегство?
На берегу, в вишневых садах, стреляют,

В штабе, в политотделе, как в сельсовете,
Сонно звенят, не веря в себя, телефоны.
Лошади у коновязи казачьей
С доброй насмешкой смотрят в раскрытые окна
На писарей, на развешенные листы
Нашей наглядной агитации...
Рано смеетесь, военные кони, рано смеетесь!

Тихо и пыльно, и дня долгота горяча.
Вот командир химического эскадрона
Самостоятельно учится конному делу.
Озабоченно бредет редактор газеты:
Ему обещаны хромовые сапоги.
Машина редакции, крытая черным брезентом,
Стоит на границе хутора и степи,
В самом тылу сражающейся дивизии,
А степь, животно живущая степь,
Выгорающей травой, окаменевшими лужами,
Казачками, с виду так безмятежно
Стирающими в реке срамное белье,—
А эта река и есть передовая,—
Степь вливается в небо, как в тело душа:
Грубость жизни и прелесть жизни.

— Танки! Танки! Мы в окружении! —
Кричит, ниоткуда возникнув, конник
И пропадает.
И там, на востоке, где степь вливается в небо,
Неожиданно, как в открытом море подводные лодки,
Появляются темные, почти недвижные чудища.
И тогда срывается с места, бежит земля,
И то, что было ее составными частями,—
Дома, сараи, посевы, луга, сады,—
Сливается в единое, вращающееся целое,
И дивизия тоже бежит, срывается с места,
Но то, что казалось единым целым,
То, что существовало, подчиняясь законам,
Как бы похожим на закон всемирного тяготения,
Распадается на составные части.
Нет эскадронов, полков, штабов, командных пунктов,
Нет командиров, нет комиссаров, нет Государства,
Исчезает солдат, и рождается житель,
И житель бежит, чтобы жить.

И самый жестокий, находчивый, смелый начальник
Уже не способен остановить бегущих,
Потому что в это мгновение, полное ужаса
И какой-то хитро-безумной надежды,
Уже не солдаты скачут верхом, а жители.
Это видно, прежде всего, потому,
Что всадники мчатся на все четыре стороны света,
Кто от немца, кто к немцу.
Это видно и потому, что меж ними
Бегут, задыхаясь в душной пыли,
Конники без лошадей и лошади без верховых.
Это видно, прежде всего, потому,
Что боится всех больше тот, кого все боялись:
Оказалось, что особист Обносков,
Капитан двухсаженного роста с широким лицом,
Все черты которого сгруппированы в центре,
Оставляя неизведанное пространство белого мяса,
Оказалось, что страшный особист Обносков
Обладает бабьим, рыхлым телосложением
И чуть ли не по-бабьи плачет над сейфом,
В котором хранится величайшая ценность державы:
Доносы агентов на дивизионные кадры,
Ибо кадры, как учит нас вождь, решают все.

4

— За Родину! За Сталина! —

Это навстречу бронемашинам ринулся в степь
Командир обескровленного эскадрона,
Стоявшего насмерть в вишневых садах.
Ты вспомнил его: Церен Пюрбеев,
Гордость политрабработников, образцовый кавалерист,
У которого самое смуглое в дивизии лицо,
У которого самые белые зубы и подворотнички,
У которого под пленкой загара
Круглятся скулы и движутся желваки.
Маленький, в твердой бурке, он ладно сидит верхом,
Хотя у него неуклюжей формы
Противотанковое ружье.
Он стреляет в бортовую часть бронемашин.
Ему стыдно за нас, за себя, за свое племя,
За то материнское молоко,
Которое он пил из потной груди,
Он хочет верить, что поднимет бойцов,
Но все бегут, бегут.

И только ты как зачарованный смотришь, ты видишь:
Голова Пюрбеева в желтой пилотке
Отскакивает от черной бурки,
Лошадь вздрагивает, а бурка
Еще продолжает сидеть в седле...

Время! Что ты есть — мгновение или вечность?
Племя! Что ты есть — целое или часть?
Грамотная его сестра в это утро
Читает отцу в улусной кибитке
Полученный от Церена треугольник.
Безнадежно больной чабан с выщипанной бородкой
Кивает в лад
Учтиво, хорошо составленным словам сына,
А голова сына катится по донской траве.
Настанет ночь под новый, сорок четвертый год.
Его сестру, и весь улус, и все калмыцкое племя
Увезут на машинах, а потом в теплушках в Сибирь.
Но разве может жить без него степная трава,
Но разве может жить на земле человечество,
Если оно недосчитается хотя бы одного,
Даже самого малого племени?
Но что ты об этом знаешь, техник-интендант?
Ты недвижим, а время уносит тебя, как река.
Ты останешься жить, ты будешь стоять,
Не так, как теперь, в безумии бегства,
А в напряженном, деловом ожидании,
Сырым, грязным, зимним утром
На сгоревшей станции под Сталинградом.
Ты увидишь непонятный состав, конвойных.
Из узкого, тюремного окна теплушки,
Остановившейся против крана с кипятком,
На тебя посмотрят косога разреза глаза,
Цвета подточенной напильником стали.
Такими глазами смотрят породистые кони,
Когда их в трехтонках, за ненадобностью,
Увозят на мясокомбинат,
Такими глазами смотрит сама печаль земли,
Бесконечная, как время
Или как степь.

Быть может, это смотрит сестра Церена,
Образованная Нина Пюрбеева,
Всегда аккуратная учительница,
Такая длиннокосяя и такая тоненькая,

С твердыми понятиями о любви,
О синтаксисе, о культурности.
В ее чемодане, —
А им разрешили взять
По одному чемодану на человека —
Справка о геройской звезде
Посмертно награжденного брата,
Книга народного, буддийского эпоса,
Иллюстрированная знаменитым русским художником,
Кое-что из белья и одежды,
Пачка плиточного чая
И ни кусочка хлеба, чтобы обмануть голодный желудок,
Ни травинки, ни суслика,
А бывало,
Покойные родители и суслика бросали в казан.
В той же самой теплушке —
Круглая, крепкая, с налитыми ягодицами —
Золотозубая Тегряш Бимбаева,
Еще недавно видный профсоюзный деятель,
Мать четырех детей и жена предателя,
Полиция, удравшего вместе с немцами.
Она-то понимала, что ее непременно вышлют,
Она-то к этому заранее подготовилась,
В ее пяти чемоданах полно союзнических консервов,
Есть колбаса, есть концентраты.
От всего сердца
Она предлагает одну банку своей подруге,
Она предлагает одну банку сестре героя,
Но та не берет.
— Бери! Бери! — кричат старухи, —
Мы же одного племени, одной крови! —
Но та не берет.
— Бери! Бери! — кричат плоскогрудые молодые
женщины, —

Разве она отвечает за мужа?

Что же ты стоишь, техник-интендант?
(Впрочем, ты уже будешь тогда капитаном.)
Видишь ты эту теплушку?
Слышишь ты эти крики?
Останови состав с высланным племенем:
Поголовная смерть одного, даже малого племени,
Есть бесславный конец всего человечества!
Останови состав, останови!
Иначе — ты виноват, ты, ты, ты виноват!

— Алё! Ты сказался? Хочешь к немцу попасть?
Только тебя он и ждал!
А ну, залезай в машину, вот в эту! —
С присвистом, сверху, с коня,
Среди вращающейся травы и всеобщего бегства,
Приказывает тебе майор Заднепрук,
Чей полк рассыпался, как песок,
Степной песок.
И вот уже ты в машине редакции
И стукаешься козырьком о рычаг «американки».
Наборщики, пожилые солдаты,
Придерживают подпрыгивающие в кассе буквы.
Оказывается, водитель машины — Помазан.
Машина тоже пускается в бегство,
И в оконце, прорезанном в черном брезенте,
На мгновенье возникает скачущий Заднепрук,
По-командирски размахивающий свободной рукою,
А в ложбинке под красноталом —
Безропотно заснувший последним сном
Трехмесячный жеребенок: наверно, тот самый,
Что на заре выходил на цыпочках из Дона.

5

Помазан об этом еще ничего не знает.
Он еще с тобою в командировке,
Он еще рядом храпит на веранде,
В доме у каких-то своих родичей,
Еще, как уголь, черна весенняя ночь,
Еще ты усмехаешься,
Вспоминая, как давеча сказал Заднепрук:
«Личной жизни совершенно не имею»,
Еще ты надеешься
На приятное приключение в Краснодаре,
А перед тобой уже начинает светиться
Измученное, молодое лицо,
Ставшее прекрасным от боли разлуки,
Запретные слезы в длинных глазах,
Волосы до плеч, дрожащие руки
И глупые, вечные слова...

Это было в конце обманного марта,
Когда в тяжелом от влаги и холода воздухе
Внезапно рождаются дуновенья
Отчаянного, по-молодому резкого тепла,

Когда в широких, как озера, лужах
Отражаются, подобные майе индусов,
Призрачные небесные чертоги,
Сработанные из червонного золота степных марев.
Только что заново сформировавшись
После одного из зимних рейдов,—
У конников, как известно, мотыльковая жизнь,—
Ваша дивизия,
Чем-то напоминая племя в пору перекочевки,
Снова двинулась всем хозяйством
Поближе к огню войны.

Ты с квартирьерами был отправлен вперед.
В станице, где приказано было отдохнуть
Людскому и конному составу
(А сколько дней — об этом знало начальство),
Как всегда умело выбраны были дома:
В школе разместили штаб и политотдел,
Дом директора школы,
Женщины содержательной, чистоплотной,
В очках и серьгах с подвесками,
Предназначен был комиссару Курцу,
Дом председателя колхоза, уютный дом,
Полный солений, варений и настоек,—
Вашему командиру-полковнику,
Особиста Обносова поместили
В доме партийного секретаря,
Начальнику штаба,
От которого зависит все на свете
(На том и на этом),
Отвели помещение у докторши...

А ты, верхом на кобылке Бирюзе,
Медленно, как охотник, двигаясь по станичному
порядку,
Увидел в окошке лицо,
Которое ты не можешь забыть,
Но разве ты знал тогда, что его не забудешь?
Когда ты привязал Бирюзу к коновязи,
Когда открыл тебе двери шестилетний Сашка,
Светлоголовый, в бязовой рубашке навыпуск,
Когда ты вошел в давно нетопленное, чистое зало,
Когда ты увидел молодое, смуглое, немного цыганское
лицо,
Когда ты увидел эти длинные, черные глаза,

Блестящие от ожидания и стыда,
От уверенности и смятения,
Когда ты впервые услышал голос
Робкий, смеющийся, дерзкий и грустный:
— Может, вам будет у нас нехорошо? —
Думал ли ты, что этот голос, эти глаза
Навсегда останутся в твоей душе?

В те счастливые дни
Ты хотел смотреть на нее свысока,
Потому что ночью она пришла к тебе сама,
Потому что шептала тебе словечки
Вроде «сладкий» или «желанный»,
Или: «Лучше бы вы сюда не приезжали.
Вы запали мне в сердце».
Или говорила о муже-механике,
От которого давно не было писем из армии:
«Он статный, здоровый и, когда трезвый, так сносный,
Только перед вами двумя я виноватая,
Перед ним и перед тобой», —
Ты хотел ее презирать и не мог,
Потому что к тебе, глупому технику-интенданту,
Пришла, — да что там пришла! — снизошла любовь.

И когда, в конце недели,
Вы покидали эту степную станицу
И ты уже сидел перед ее домом верхом,
А она, не стыдясь соседок и военных,
Что-то кричала, как потерянная,
И то гладила, то целовала твою руку,
Неумело державшую плетеный чембур,
А ее Сашутка почему-то угрюмо плакал, —
С каким облегчением ты уезжал оттуда!

6

Но постепенно эта беспечная легкость
В твоей душе
Сделалась тяжестью, и светлой, и нищей.
Помнишь девятое утро вашего бегства?
Огненно-красный туман вставал над прудом,
И вы, притихнув, на него смотрели
Из погреба разрушенного дома.
«Выходом» в этих краях называется погреб,
Но вы не видели выхода.

Еще вчера вас было полтысячи, что ли,
А в это утро осталось двадцать четыре...
Недалеко от станции Палагиада
Вам, вчера пятистам, преградил дорогу
Заградотряд: наконец-то какая-то власть!
«Хватит драпать, пора занять оборону!» —
И зачитали вам Сталина новый приказ:
Кругом казачья Вандея,
Идейно зараженная местность,
Деморализация армий Южного фронта,
Нужны суровые меры, штрафные роты,
Поведение ваше можно искупить только кровью...

Полковник, даже в беде не похудевший,
Приободрился: «Займем оборону».
Мгновенный бой, — «кулаками против танков»,
Как выразился редактор (вчера он погиб), —
И снова развеяло вас в разные стороны,
А к вам занесло двоих из заградотряда, —
Вместе, значит, вам драпать, —
И вы повторяете снова: — Где эскадроны?
Где полковник? Где комиссар? Где штаб?
Где ваши кони, тачанки, грузовики?
Как оказались вы в этом погребе —
Восемнадцать бойцов, три сержанта и три офицера:
Ты, майор Заднепрук и капитан Обносков —
Не призрак ли? — со своим драгоценным сейфом...

Смутно вспоминался вчерашний бой, —
Смутно, потому что нельзя было понять:
Что же вы обороняли, заняв оборону,
Если немцы — слева и справа, позади и впереди?
Вы все легли в чужие, свежие окопы, —
И строевые, и шоферня, и штабные, —
Все по команде стреляли,
Все, кроме Обноскова и его коновода,
Сидевших в тачанке в дальней лощине
И оберегавших сейф.
И как нельзя было понять,
Для чего взлетел в воздух красавец дуб,
На котором висели провода,
Так нельзя было понять,
В какую сторону вам нужно идти сейчас,
Еще вчера вы были бегущей, но военной частью,
А теперь вы стали частью ветра и пыли.

Но пусть вам чудится, что за прудом
Команда ведется уже не по-русски,—
Здесь, около вас,
По-прежнему по-русски разговаривают хлеба,
Умоляя о жатве,
По-прежнему, как в русской деревенской кузне,
Темно, и дымно, и красно в закатном небе.
И вы дождались ночи и пошли,
И пошли правильно: к своим.
Но почему же ты начал искать своих
Только с того дня,
Как вторглись в страну чужие?
Так непомерна была захваченная земля,
Что в первые дни разгрома
Не хватало на нее немецких солдат,
И были станицы, хутора без властей.
В самом деле, чудо из чудес:
Земля без властей, поля без властей,
Без немецких и наших,
Население без властей,
Ночи — пусть две или три — без властей,
А по утрам, просыпаясь,
Листья, казалось, трепетали в росе:
«Нет властей! Нет властей!»

Вы спите только днем — в сарае, в хлеву, в кукурузе.
А вечером один из вас
Вынужден спрашивать у станичника:
— Наши давно ушли?
— А кто это ваши?
— Красная армия.
— Так то не наши, а ваши.
Тогда, поумнев, уточняете по-иному:
— Наши — это русские.
— Так то не наши.
— А вы разве не русские?
— Не. Мы казаки. А скажите, товарищ,—
(А губы язвят, а в глазах — все, что зовется жизнью),—
Может, вы из жидов?
И вот что странно: именно тогда,
Когда ты увидел эту землю без власти,
Именно тогда,
Когда ты ее видел только по ночам,
Только по беззвездным, страшным, первобытным ночам,
Именно тогда,

Когда многолетняя покорность людей
Грозно сменилась темной враждебностью,—
Именно тогда ты впервые почувствовал,
Что эта земля — Россия,
И что ты — Россия,
И что ты без России — ничто,
И какое-то безумное, хмельное, обреченное на гибель,
Обрученное со смертью счастье свободы
Проникало в твое существо,
Становилось твоим существом,
И тебе хотелось от этого нового счастья плакать,
И целовать неласковую казачью землю,—
А уж до чего она была к нам неласкова!

7

— Есть информация, товарищи командиры,—
Сказал Обносков тебе и Заднепруку,
А дело было в шалашике, и перед вами
Уже не донская текла, а моздокская степь,
И Заднепрук не мог бы ответить,
Для чего это он бережет ненужную, донскую,
Исчерпанную вашим бегством семиверстку.
— Есть информация, товарищи командиры:
Помазан вчера сжег свой партийный билет.
Это видел собственными глазами
Сержант Ларичев из триста тринадцатого,
Наблюдавший за ним по моему указанию:
Был сигнал.
Предлагаю: ночью созвать отряд,
Вам, товарищ майор, осветить обстановку
И расстрелять Помазана перед строем.

— Слушай, Обносков,— лениво сказал Заднепрук,
С присвистом воздвигая в три яруса брань,—
Потом разберемся. Дай выйдем к своим.
Надоел ты, Обносков. Надоел. Ей-богу, надоел.
А нужен ты армии, чего скрывать,
Как седлу переменный ток.

— Что вы такое говорите,— вскричал Обносков
И онемел, и лишь губы дрожали,
И оживали бледно-голубые глаза —
Кукольные стекляшки базарной выделки,
И его широкое, белое, как тесто, лицо

Впервые — или тебе так показалось? —
Исказилось разумной, человеческой болью.
— Седлу — переменный ток... Что вы без меня?
Труссы, изменники Родины, дезертиры.
А вы, наш командир? «За недостатком улик»,—
А все же была пятьдесят восьмая статья,
Пункт одиннадцать, кажется?
Окружение? Не случайно!
А в моем-то сейфе — знамя дивизии,
Круглая печать, товарищ майор.
Со мной вы кто? Военная часть.
А кто без меня? Горько слушать,
Не заслужил, товарищ майор.
Говорю вам не как командиру отряда,
А как коммунист коммунисту.

— Не паникуй, Обносов,— сказал Заднепрук,
Сказал негромко, миролюбиво,
Но ты заметил, что и его можно смутить.
— Политически я отстал за четыре года,
Да и частота речи у меня слаба.
Не расстраивайся, Помазана расстреляем.—
А когда Обносов покинул шалашик,
В котором вы прятались от чужеземцев,
Острыми глазками впился в тебя Заднепрук:
— Слушай, тебе Помазан — дружок?
Вроде вы ездили вместе в тот, в Краснодар?
Ты с ним потолкуй, понял?

И ты потолковал с Помазаном.
Ты ему все рассказал и сказал: — Беги.—
Грязные, обовшивевшие,
Вы лежали рядом в зеленой кукурузе,
Поднявшей над вами листья-булаты.
Сверху припекало раннее солнце,
А голодному брюху было мокро от земли.
И ты узнал,
Что Помазан — не Помазан, а Терешко.
Что их семья — семиреченские хохлы,
Что отец у них был экономически сильный,
Вот и выслали их в тридцатом году,
Как класс,
И поселили на конечной станции
Одноколейной степной ветки,
На станции Дивное,— не знаешь?

Отсюда недалеко.

В этих безводных, суховейных местах
Так были названы все населенные пункты:
Дивное, Приютное, Изобильное,—
И повсюду комендатура.

Из Петровского один раз в день
Поезд подкатывался к платформе,
Как змея к воротам концентрационного рая,
Но с добрым шипением пара.

И все,—

А между ними и он, тринадцатилетний,
С запаршивевшей головой и выпученным животом,—
Кто с какую посудой

Бежали к паровозу, к вагонам, чтобы набрать воды,

А из самого хорошего вагона

Капала самая плохая вода,

Но пили и ту, сортирную воду.

Умерли мать, и братик, и две сестры.

И так же, как ты сейчас Помазану,

Отец сказал ему: «Беги,

Беги, сынок, пока не подох».—

И он убежал, убежал далеко.

А когда овладел профессией,

И зарегистрировался с одной официанткой,

И принял ее фамилию,

И бросил, конечно, жену,

Он подался ближе к степным местам,

Устроился шофером в Сарепте,

Давал газ.

Там его и в партию приняли:

Шутка ли, непьющий шофер!

А к тому же — безответный, старательный,

Техническая голова,

А если и делал левые ездки,

То делился с диспетчером без скандалов,

По-хозяйственному...

А когда уже из дивизии

Отправили вас за машинами в Краснодар,

Он привел тебя и дружков-водителей,

Не куда-нибудь, а в дом своего отца,

Женатого теперь на худой, высокой баптистке,

Тихой, как тень,

Тоже когда-то высланной, тоже из Дивного.

И новые дети родились у отца,
В новом, чужом для Помазана доме,
И отец работает кладовщиком
На складе торга,— соображаешь?
И опять он экономически сильный.
Но ты не видел, когда спал на веранде,
Как ночью он будил Помазана,
Седой, но все еще, как парубок, чернобровый,
Ставил на стол четверть первача
И пьяный,— сын-то не пил,— просил и плакал шепотом:
«Пей, сыночек мой Степа,
Приехал все-таки к старому батьке в гости»,—
А Степой звали того, умершего братика.

...Вечером случилось вот что:
Один из бойцов подполз к кошаре
(А ползал, черт, с километр, не меньше!)
И выкрал овцу.
Да какое — выкрал, кто их теперь стерег!
Вы обрадовались и — была не была —
Разожгли небольшой костер.
Как хорошо было свежее мясо
Заедать арбузом, сорванным на бахче!
Во время этого пира
Ты шепнул Заднепруку: — Порядок,—
А Заднепрук тебе сказал: — Дурак,—
И кончиком сабли
Поднес ко рту кусок мяса,
И ты понял, что Обносов за тобою следит.
Ночью вы пошли на восток.
А где он, восток, в ночной степи,
На плоской окраине материка,
Куда нахлынули тьмы тём
Чужих солдат и своих бед,—
Об этом знал один Заднепрук.
Издали долетал собачий лай
И казался не очень опасным.
Из более далекого далека долетали
Повелительные наклонения немецких глаголов,
И это казалось вам более опасным.
Но самым опасным было то,
Что двигалось близко, рядом с вами,
Вокруг вас и внутри вас,
И две опасности,

Далекая и самая близкая,
Сливались и становились страхом.

Вы шли, узнавая друг друга по дыханью.
Сержант Ларичев и коновод Обносова,
Меняясь, несли сейф на своих плечах,
То и дело останавливаясь
И озираясь в недружелюбной тьме.
Огромная ночь, смежив усталые веки,
Бормотала о чем-то в больном сне
И вдруг, просыпаясь, вскрикивала в испуге,—
Господи, что же это за крик?
Утром оказалось, что вас двадцать два:
Нет Обносова и Помазана.
— С фронтовым приветом,— позавидовал кто-то,
А Ларичев, сержант из 313-го,
(Где-то он теперь, 313-й полк!)
Сказал, как-то по-детски заикаясь:
— Капитана убил Помазан и убег.

Но ты-то знал, кто убил особиста.
С горьким восторгом, с тяжелым трепетом
Поглядывал ты на саблю Заднепрука,
Упряданную в щербатые ножны.
А тот приказал: — Ну-ка, вскрыем,—
И вскрыли, с помощью Ларичева, сейф,
И доносы, объективки, сигналы,
Одни пожелтевшие, другие посвежее,
Полетели, закружились в степи,
В окруженной степи.
Но остались: красный кусок шелка,—
Знамя вашей кавдивизии,—
И круглая печать.
Заднепрук, не спеша, сложил знамя,
Спрятал его и печать в карман
И сказал: — Теперь полегчает, Ларичев? —
Но Ларичев молчал, нехорошо молчал.

А ты думал (и знал,
Что все думают о том же самом):
Помазан избавился от войны.
А ты думал (и знал,
Что у других такие же, похожие думы):
Не удрать ли и тебе к твоей казачке,
До ее станицы не так уж далеко,

А там неплохо, там чисто, сытно, сладко,
Можно выдать себя за армянина,—
Ты похож, немцы поверят,—
А она не продаст, спрячет,
Она тебя любит, не сомневайся, любит...

А ночью ты поднялся, и все поднялись,—
Тот без ремня, тот без сапог, но все с оружием,—
И опять вы пошли на восток.
Иногда вам встречался такой же, как вы,
Одинокий окруженный солдат,
Все выцвело у него: глаза,
Волосы, гимнастерка, гвардейский значок.
— Где наши? Может, слышал?
— В Казахстане. А то и подальше.
— Где немцы? Дошли докуда?
— До Тифлисской: царя привезли грузинам.
— А ты куда?
— На передовую: жену гладить.
— Ну и катись... А с нами пойдешь?
— Пойду, если принимаете.

8

Песок, песок.
Кто сказал, что время течет, как вода?
Время течет, как песок,
И песок душит
Редкие кусты таволжника,
Запах полыни,
Упрямые корешки лебеды,
Стеклянные осколки соленых озерков.
А порою, как и время,
Песок становится скоморохом:
То он бежит волной,
Подражая воде в реке,
То притворяется ржаной мукою,
То он шумит, как вода под ветром,
То возникают, занимая полнеба,
Многобашенные города
С розовыми зданьями и лазоревыми куполами,
Но все это призраки, марева, обманы,
Песок, песок.

Иногда мерещится тебе:
По выжженной солнцем сухой равнине
Скачет беглец-раб,
Угнавший коня из становья.
Он хочет пить, пить,
Но кругом степь, степь,
Безлюдная, безводная степь.
Тогда беглец-раб
Протыкает жилу своего коня
И, вставив тонкий стебель камыша,
Высасывает густую, теплую кровь.
Но разве жажда утоляется кровью?
И вот умирают и конь, и всадник,
И мертвых заносит степной песок,
Песок, песок.

То померещится тебе—
Говорит песчинка другой песчинке:
«Мы одной крови — я и ты,
А все иное — не я и не ты,
Не нашей крови,
Задушим проточную воду,
Задушим все, растущее на земле,
Задушим грядущее на земле,
Пусть останется только то,
Что я и ты,—
Песок, песок!»

Но вы идете по земле,
Потому что вы — начало грядущего,
А грядущее это и есть возмездие,
Потому что человек равен человеку,
И никто другой ему не равен,
Потому что любовь рождается даже из зла,
А вы, люди,— дети любви,
И вот вы идете к людям,
Не потому, что вы одной крови,
А потому, что вы одной любви.
Вам кажется, будто
День сливается с днем,
А на самом деле
День сменяется днем,
Новым днем, тем самым,
Который для вас разгорится в Германии,
И ты еще вместе с Заднепруком проскачешь

По разрушенному асфальту узких улиц,
Мимо загаженных церковных ступеней,
Между домами с островерхими крышами,
Там, где даже деревьям, воздуху, бензоколонкам
Придется доказывать на суде —
Не на людском суде, а на Страшном —
Свою непричастность к убийству...

Песок, песок.

Песок на гончарном круге солнца,
Песок на мимолетной, зыбкой тени
Пугливо бегущих сайгаков,
Песок на колючей и лопухой траве,
Во рту песок.

9

Миновали донскую степь,
И ставропольскую, и моздокскую миновали,
А вот и Терек, и в Моздоке — советская власть.
Так вы и пришли к своим, к России,
И Россия теперь проверит: кто вы?
Изменники Родины? Агенты? Труссы?
Новая жизнь — новый страх.

На проверку отправили всех на машине
В штаб Северо-Кавказского военного округа.
Прибыли. Вызвали вас, командиров, двоих.
Ларичев, миловидный, услужливый, рано полысевший
(Он, если выживет, и потолстеет рано),
Пытался долго и вкрадчиво
Отправиться на комиссию вместе с вами,
Но вы пошли вдвоем: Заднепрук и ты.
А комиссия по проверке работала
В здании железнодорожной школы
На окраине республиканской столицы.
Вы спускаетесь по горбатым улицам.
Терек шумит рядом.
Но разве так шумит, как при Лермонтове
Или при скифах, аланах?
Река шумит шумом нашего дня,
Нашего сердца...
Все удивительно:
Афиши, возвещающие встречу с московским артистом
Или доклад лектора обкома:

«Грюнвальд и славянское единство»;
Автобусы с населением;
Пучеглазая толстуха: чистка обуви;
Нарядно одетые военные в кителях из рогожки,
А рядовые — в войлочных шляпах;
Долговязый старик осетин,
Читающий, с откинутой головой, газету-витрину;
Винницы, где свободно, за деньги,
Отпускают вино.

— Выпьем для храбрости? —
Предлагаешь ты Заднепруку,
Не столько потому, что хочешь выпить,
Сколько потому, что приятно почувствовать
После трудных, страшных странствий
В окруженной, ночной, первобытной степи,
Как возвращается сила к денежным знакам.
— Не теперь, — отвечает Заднепрук,
Как брат, обнимая тебя и шуря острые глазки, —
Я, как выпью, теряю ум,
И тогда у меня душа — вот
(Он показывает, как раскрывается у него душа),
А нам с тобой зараз нужно душу на крючки,
По-умному надо.

Перед вами возникает широкий, пыльный,
Видимо, забытый рельсовый путь,
И тебе кажется, что вдали ты видишь
Поднимающегося в город сержанта Ларичева.
Ты говоришь об этом Заднепруку:
— И адрес школы, сволочь, узнал,
Уже там побывал, накапал, —
А Заднепрук: — Ты обознался.
И, подумав, добавляет: — Он жить хочет. —
Ты хорошо понимаешь, что означают эти три слова,
Когда их произносит Заднепрук,
И внимательно смотришь на товарища по окружению,
А он — чистым и прямым взглядом — на тебя.

Минут через десять вы сворачиваете,
Мимо домиков, крытых камышом, за угол,
И сразу становится ясно,
Что пришли туда, куда надо было прийти:
К своим.
На просторном дворе железнодорожной школы,

Прямо на земле,
Где растет между острыми камешками
Отгоревшая, кое-где жгучая травка,
Сидят военачальники:
Командующие, потерявшие свои армии,
Командиры без корпусов и дивизий.
Они ждут вызова: проверка!

Одни беседуют, пугают друг друга:
— Петунина, Васятку, помнишь?
С луны свалился, какого Петунина!
Василия Карповича, генерал-лейтенанта!
Так ему дали штрафную роту, звание — капитан...
У других, молчаливых, тут же, на камешках —
Четвертинка, соль в тряпке, помидоры, хлеб,
Самодельный солдатский ножик...
Морячок-кавторанг почему-то в кепке,
Какие бывают у продавцов лаврового листа.
С ним вяло разговаривает некто в синих штанах
С красными генеральскими лампасами
И в украинской, очень грязной, но когда-то ярко,
По-гуцульски вышитой рубахе.
Кое-где видны и раненые.
Август. Кавказское солнце еще раз касается кистью
Вашего донского, степного загара.

— А, Заднепрук, и ты, Брут?
Кто же натрепался, что ты сидишь?
Ты не сидишь, а бежишь! —
Зычно кричит танкист в генеральской форме,
Как видно, с чужого плеча,
И с плеча, вдобавок, жирного, а этот — худ.
Раздобыл он и свои заслуги,
Выставил в два ряда.
Он целует, с большим чувством, Заднепрука:
Вместе, наверно, служили в Первой Конной.
Заднепрук доволен, он представляет тебя генералу.
Тот запросто, как равному, пожимает тебе руку,
Называет свою фамилию,
Ныне такую громкую...

На ступеньках здания школы
Появляется старший лейтенант со списком.
Все замолкают.
Он среднего роста, этот старший лейтенант,

Он еще не знает, что такое война,
Кавказский человек, тонкий в талии.
На нем неслыханной белизны китель,
Высокие, может, шевровые, сапоги,
Блестящие, как восточная сказка.
У него маленькие, с наперсток, сочные губы,
Прежде, чем выкрикнуть слово,
Он держит их несколько мгновений раскрытыми,
И у каждого замирает душа:
— Гвардии инженер-полковник Дидык!
Приготовиться генерал-майору Жорникову! —
У него произношение такое же,
Как у нашего вождя,
Когда тот говорил нам: — К вам обращаюсь,
Братья и сестры мои!

И вот, без фуражки, в солдатских обмотках,
Жалко поднимается по деревянным ступенькам
Высокий, наскоро — с порезами — побритый Дидык,
И кавказский человек, старший лейтенант,
Смотрит на него с брезгливым состраданием.
А где-то во дворе уже готовится Жорников
Ответить за дивизию, потерянную, как иголка,
В сальских стогах,
А там настанет очередь Заднепрука
И, значит, твоя.
Но ты об этом еще ничего не знаешь,
Ты еще в Краснодаре, где пока весна,
Первая военная наша весна.
Ты прибыл во главе шоферов за полуторками,
У тебя — предписание
В штаб тыла Южного фронта.
Вы устроились на квартире, в мазанке,
У каких-то дальних родственников Помазана:
Нет дураков, чтобы жить в казарме.
Ты только что спрыгнул с площадки трамвая
И стоишь на месте, еще не зная, куда пойти.
Ты недвижим, техник-интендант,
А время уносит тебя, как река,
И ты, недвижимый, плывешь, плывешь...

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

1

Машины грузовые, легковые,
И в клетках шахматных, и цвета беж,
Бегут стариннейшим путем России,
Где желтых мурз стояли часовые,
Где Гитлера недавно был рубеж.
Сейчас — порядок. В суть твою вникая,
Внимательна милиция родная:
Катись, пожалуй, хоть в Бахчисарай,
Лишь правила движенья соблюдай.

2

Иной водитель есть руководитель.
Начальник треста, депутат с душой,
Лауреат, — он обогнать любитель
Полуторку на скорости большой,
Когда он едет в Крым с чужой женой.
К машине с мелким углем, без опаски,
Притерся инвалид войны в коляске.
В трехтонке под брезентом — свой уют:
Два парня, двадцать девушек поют.

3

Районный центр. Сегодня воскресенье,
Большой базар. Шум, солнце, грязь вокруг.
Стоит невестой церковь. Объявление
Гласит: «Запрещена торговля с рук
И на земле». И ты в недоуменье:
Кто этот бог с гордыней на челе,
Торговлю запретивший на земле?
Притом на той, — туляк ли ты, орловец, —
Где пахарю предшествовал торговец?

Мой край, тебя люблю я, как отца,
 Люблю твои глаза — осколки неба,
 Морщины загорелого лица,
 Что мило и темно, как корка хлеба.
 «Ну, — думал, — план такой, что нет конца!
 А смотришь, с государством рассчитался.
 Конечно, без копейки ты остался,
 Но все-таки свинью привез, гуся,
 На них теперь твоя надежда вся».

Задумчив гусь, печален, белокожий,
 Он озирает тех, кто съест его.
 Свинья, полуприкрытая рогожей,
 Уже не ждет от мира ничего.
 Мой друг, и мы с тобой на них похожи:
 Вытягивая шею, словно гусь,
 Ты пыжишься: во всем я разберусь!
 Я — тупо жду назначенного часа...
 Живи, как я, гусиное ты мясо!

А мяса много. Рдеют на столах
 Огузок, оковалок. Наготове
 Топор. Наверно, возле древних плах
 Не больше было теплой, терпкой крови.
 Как странно смотрят головы коровьи,
 Какой живой, чуть пьяный, томный взор.
 В нем только любопытство, не укор.
 Сказал поэт: так сверху смотрят души,
 Когда, свежая, потрошат их туши.

Где видел я такие же глаза,
 Что блещут вопросительно-покорно?
 Вдруг, заглушив базара голоса,
 Сжимает сердце черная гроза:
 Да это же мои глаза, бесспорно,
 Моя отрубленная голова

Глядит, полужива, полумертва,
На жадных жен районного начальства,
И слышит крик, и смех, и зубоскальство.

8

Пить, пить, машине захотелось пить,
И нам с тобой. Заправочная рядом
Нас привлекает розовым фасадом
И надписью «Буфет». Как поступить?
Бензин и пиво надобно купить.
Тут крикнул некто в кителе брезгливо:
«Зачем евреям отпускаешь пиво?»
Буфетчица сердита, но добра:
«Уж как напьются эти шофера...»

9

Все хорошо. И пусть машина мчится,—
Событие спокойно объясним.
А в небе что-то щелкает, струится...
Кто ты такая, серенькая птица?
Хочу я знать, каков твой псевдоним?
И я пою, когда приходят сроки.
Ведь это я провел по небу строки
Горячих телеграфных проводов,
Где ты звенишь на тысячу ладов.

10

Трава лугов, весеннее кипенье
Еще вчера застенчивых берез,
Птиц и гармоник молодое пенье,
Цвети, любить земное нетерпенье
Не трогают, а мучают до слез.
Облит простор вечернею зарею,
Что пышет углем над Косой Горой:
В одно слились горящий небосвод
И пламя извергающий завод.

11

Мы проезжаем каменные башни
И сразу попадаем в рай земной,
Где липы встали сомкнутой стеной,

Где нежно меж берез темнеют пашни,
Где каждый дуб — как богатырь лесной,
Где каждый лист поет, грустит, ликует,
Где правды каждый червячок взыскует,
Где кажется: на каждой из дорог
Нам встретится их сотворивший Бог.

12

Как странно чувство, будто нам знакомо,
Давно знакомо все: вот этот дуб —
Он детства друг, его мы знали дома,
Он слушал в час душевного подъема
Слова, срывавшиеся с жарких губ.
С березкою, цветущей на развилке,
Мы книги вслух читали при коптилке,
А на дворе была пальба слышна:
В то время шла гражданская война.

13

А вот он, холмик, на краю оврага
В лесу огромной, чудной вышины.
Внизу едва-едва лепечет влага,
На стрелке буквы: «Зона тишины».
Верхи деревьев солнцем зажжены,
И ветер язычки листов колышет,
А он под хвоей ничего не слышит,
Он удален от собственной судьбы,
Бессменно стерегут его дубы.

14

И кажется: его в тиши дремучей
Благоговейный оцепил покой
Незримой проволокою колючей.
Иль сам от боли он ушел людской,
От истины мучительной и жгучей?
И все, к нему пришедшие, молчат,
Как будто он всего лишь экспонат.
Нет, люди мы, должны друг друга слушать,
Мы зону тишины должны разрушить.

Я говорю: — Как смеешь ты лежать
Под стражею Ученого Совета? —
Я говорю: — Как смеешь ты молчать,
Когда я кровью сердца жду ответа?
Как смеет здесь рождаться благодать,
Когда окружена твоя отрада
Кругами концентрического ада?
Войди в наш круг, где благо служит злу,
И вместе с нами превратись в золу!

— Кто ты такой? Откуда ты? Не знаю
Тебя! — под хвоей шепчет исполин.
Но голову к могиле я склоняю:
— Я мучаюсь, грешу и проклинаяю.
Ты хочешь знать, кто я такой? Твой сын.
Я человек, я раб, я твой наследник,
Я уничтожу этот заповедник,
И вновь ты все круги пройдешь со мной
Тоски, надежды, слабости земной.

БЕСЕДА НА ВЕРШИНЕ СЧАСТЬЯ

Дьявол

Как хорошо!.. Внизу — над льдиной льдина,
Сто тысяч красок, слитых в белизну,
А здесь, над ними, — теплая долина.
Зима на плечи подняла весну,
Как дедушка смеющегося внука,
И сердцу так приятен милый груз...
Не правда ли?

Бог

Да, я люблю Эльбрус.

Дьявол

Единство цвета, запаха и звука,
И ограниченность, и тот простор,
К которому, ты знаешь, с давних пор
Моя душа исполнена пристрастьем.
Недаром обитатель этих гор
Эльбрусу имя дал «Вершина счастья».

Бог

Так, кажется, его назвал Адам?

Дьявол

Быть может, полудиким племенам
Известны стали смутные преданья
О радостных картинах мирозданья,
Когда здесь не было суровых скал,
Крутых утесов, сумрачных ущелий,
Везде плоды приманчиво блестели,
Белел урюк, лимон благоухал
И зонтик пальмы, путников отрада,
Сосуществовал с лозою винограда.

Б о г

Сюда Адаму удалось попасть.

Д ь я в о л

Когда его ты вышвырнул из рая?

Б о г

Когда впервые согрешила власть.

Д ь я в о л

Он злился, как дитя, не понимая,
Что в гору трудно целый день идти:
В раю привык он к плоскому пути.

Б о г

Он помощь получил.

Д ь я в о л

С тобою споря,
Я подошел к нему в минуту горя,
И волю гордую вдохнул в него,
Но как я был взбешен, когда увидел
Того, кто безобидного обидел,—
Тебя, бессмысленное божество,
Со мною рядом!

Б о г

Я жалел его.

Д ь я в о л

И разлучил его с эдемским садом?
Он выбивался из последних сил,
А ты его ласкал умильным взглядом.
Скажи, зачем ты шел со мною рядом
Ему на помощь?

Б о г

Я его любил.

И ты его любил в тот миг тяжелый.

Д ь я в о л

Жалеть, любить — знакомые глаголы!
Не потому я злобой обуян,
Что ты меня обманываешь гнусно,

Дьявол

Какую мы вкушали благодать,
Когда, причастны дикому блаженству,
Мы не пытались сущее познать,
Дороги не искали к совершенству!

Бог

Ты живо мне напомнил о былом.
Однажды мы склонились над прудом.
В оправе листьев наши отраженья
Почти не колебал зеркальный круг,
И странно было нам увидеть вдруг
Два одинаковых изображенья.

Дьявол

Твои глаза глядели веселей.

Бог

В твоих была задумчивость и томность.
Решил я: ты — умней.

Дьявол

А ты — смелей.

Бог

И мира беспредельную огромность,
Доселе нам понятную извне,
Увидел я в тебе, а ты — во мне.

Дьявол

Скажи, творили мы иль забавлялись,
Когда выдумывали птиц, зверей,
Цветы, деревья, жителей морей?
Они на свет тотчас же появлялись
И умирали.

Бог

Удивлялись мы
Их появлению, их жизни краткой,
А смерть осталась, как была, загадкой.

Дьявол

Блестящие, но слабые умы,
Мы грезили без смысла и без цели,

Добро и зло предвидеть не умели,
А наши грезы облекались в плоть,
И были мы с тобой уже не властны,—
Согласны в чем-нибудь иль не согласны,—
Их возвеличить или побороть.

Б о г

Они тогда, как мы, еще не знали
Ни страха, ни веселья, ни печали,
Ни силы и ни слабости своей,
Ни храбрости, ни рабского смиренья.
Их пищей были травы и коренья.
Порою нянчила чужих детей —
Ягненка или телочку — тигрица,
Не думая добычей поживиться.

Д ь я в о л

Пока не появился наш Адам.

Б о г

Я помню день. Пестра была долина.
Твой взор прикован был к ее цветам.
И ты сказал: — Я сотворю павлина.—
Он перед нами сразу же возник,—
Игрушка естества, живой цветник,
И зависть испытал я на мгновенье
К твоей изобретательности. Мне
Казалось дивным это вдохновенье:
С тобою откровенен я вполне.
Но я подумал: нет конца причудам,
Всем этим зебрам, страусам, верблюдам,
Как миру нет начала и конца,
Подобье грандиозней, чем различье,
В обыкновенном кроется величье,
И третьего я создал близнеца,
Такого же, как мы.

Д ь я в о л

И не такого.

Все было в нем так близко нам — и ново,
Так чуждо — и знакомо... Эта страсть
К игре, к наветам, к непрестанным козням,
С раскаяньем живительным, но поздним,
То все благословить, то все проклясть.
То плакать, то смеяться без причины,

То ясным быть, то не снимать личины,
То гордым быть, то жалким, в тайне прясть
Силки обмана, возбуждать в нас ревность
И хитрость вдруг сменить на задушевность, —
Скажи, все это разве было в нас?

Б о г

Кто знает? Мы самих себя впервые,
Быть может, в нем открыли в горький час.

Д ь я в о л

Как изумились мы, сердца простые,
Когда задрал он белую овцу
И съел ее, потом пошел к ягнтям
И стал их гладить с видом виноватым,
А слезы покатались по лицу.

Б о г

То были слезы первые вселенной.
Ты любовался влагою бесценной
И непонятной, и еще милей
Он стал тебе.

Д ь я в о л

Нет, нет, я вскрикнул гневно!

Б о г

Не потому ли, что в душе твоей
О нем росла забота каждодневно?

Д ь я в о л

И ревность. Я не мог терпеть, когда
Тебе внимал он с детским обожаньем:
Была мне ненавистна та звезда,
Что обливала вас двоих сияньем.

Б о г

Ты ошибался. Он любил, поверь,
Двух близнецов без всякого различья
И наши не угадывал обличья,
Как не угадывает и теперь.

Д ь я в о л

Но сразу ты вступил со мной в боренье,
Сказал ему, что он — твое творенье.

Б о г

Сказал, но позже, но в сердцах, затем,
Что я, как ты, и ревновал, и злился.
Я видел: изменился наш эдем
С тех пор, как человек в нем поселился.
Он превратил в зверинец наш цветник:
Адам, каким-то чудом подмечая
Неясные черты питомцев рая,
Что проявлялись в редкий, темный миг,
Их злую сущность сразу же постиг.
Открыл он барсу: «Твой закон —
коварство».

«Ты всех сильнее», — подсказывал он льву.
Он дереву твердил: «Глуши траву».
Шептал траве: «Борись числом, ты царство».
Учил овцу: «Ты жертвой родилась».
Лягушке он внушил: «Ты безобразна».
Уверил розу: «Ты полна соблазна».
И этих свойств мятущуюся связь
Мы в нем самом увидели с испугом.
Хотели исцелить его, но мы
Уже таким же мучились недугом.
Понятье света, разуменья тьмы,
Добра и зла открылось нам отныне,
Но мы запутались в первопричине,
А век сменялся веком... «Смерть есть зло,
Добро есть жизнь», — сказали мы. И что же?
Того, кто жизнь ценил всего дороже,
Всего быстрее зло к себе влекло.
А тот, кто смертной не боялся бездны,
Кто говорил: «Я прав, и я умру», —
Прямой дорогой приходил к добру.
Тогда твердил нам опыт бесполезный:
«Добро есть свет, а тьма — источник зла».
Но эта мысль отрады не дала.
Случалось так, что тьма торжествовала,
Но разгорался свет в людских сердцах.
Свет знания мощно пламенел, бывало,
А злое дело делалось впотьмах.
Ты помнишь ли страдания начало,
Когда, грехом первичным рождена,
Возникла вековечная война?

Д ь я в о л

Меж мною и тобой.

Б о г

Война меж всеми,
Война во всем, война в тебе, во мне.
Я думал: адом стала жизнь в эдеме
И надо положить конец войне.
Тогда «Уйди!» сказал я человеку.
Но кто мне поручил над ним опеку?
Иль выше я Адама, выше всех?
Так совершил я первородный грех.
Я заблуждался, равного карая:
Не властен над своим твореньем бог.
Хотя Адама я изгнал из рая,
Из сердца своего изгнать не мог.
И ты не мог. Мы вместе с ним созрели,
Бессмысленно жестоки и добры.
С ним постигая новые миры,
Мы шли вперед, не постигая цели.
Мы видели и плахи, и костры,
Мы слышали набегов буйный топот,
И мудрости вольнолюбивый шепот,
И тихий ропот материнских слез,
Покуда мук и страха горький опыт
Нам откровенья правды не принес:
Зло есть неволя, а добро — свобода.
Мы в тайную полицию войдем:
Там явственней их облик и природа.
Вот следователь вымокшим платком
С лица стирает пот, с лица насилья.
Разорвались у жертвы сухожилья.
В кровавый превращенная комок,
Она молчит, и взор ее глубок,
Полуослепший взор, и в нем свобода.
Я счастлив, ибо знаю: год от года,
В день изо дня, из мига в миг, поверь,
Неволи допотопный, грозный зверь
Утрачивает власти обаянье,
Хотя рычит, увидев из норы
Свободы пленной робкое сиянье.

Д ь я в о л

Да, счастлив ты. Тебе до сей поры
Поют хвалу Адамовы потомки.
Восторги, славословья были громки
У тех, кто даже отрицал тебя.

А я, их души якобы губя,
Ушел, по их понятиям, в потемки.

Б о г

Откуда знаешь ты, что ты есть ты,
Что я есть я? Что ты не славен всюду?
Что пишут не с тебя Христа иль Будду?
Что ты не полон к людям доброты?
Стоит пастух, стоит со стадом вместе,
А поезд мчится,— замирает дух.
Но поезд, может быть, стоит на месте,
И быстро удаляется пастух?
Брат, милый брат, не все ль равно, подумай,
Кто именно из нас — добро и свет?

Д ь я в о л

Увы, печален будет мой ответ.
По воле человечества угрюмой
И мелкой сделалась моя душа,
Живу я, как ничтожество, греша,
И правды, как ничтожество, взыскупя,
Не веря ни улыбке, ни слезе,
Ни материнской силе поцелуя,
Ни новой очистительной грозе.
Один лишь раз во мне проснулась вера:
Когда атланты, атом расщепив,
Преобразили мир. Раздался взрыв,
Наполнилась огнем земная сфера,
Промчался ослепительный, живой,
Поток нейтронный, гамма-лучевой,
В котором застывали, цепенели
Моря и ветры, ливни и метели,
И расплавлялись горные хребты.
Следили мы с гудящей высоты,
От ужаса дрожа и замирая,
Как движется реакция цепная.
Распад всего живого сблизил нас,
И после прожитых тысячелетий
С тобою обнялись мы в первый раз,
Прижались мы друг к другу, словно дети
В бомбоубежище. Ты помнишь, бог,
Как улеглась лавина световая?
Как замерцал неясный лунный рог?
Смотрели мы, земли не узнавая:
Там, где шумели нивы и сады,

Где возвышались храмы и чертоги,
Где были человечества труды,
Заводы и железные дороги,—
Застыли там арктические льды.
Роскошный край с детьми и матерями,
С лабораториями, лагерями,
С газовнями, с беспечной суетой,—
Теперь оделся вечной мерзлотой,
А там, где были только льды и бури,
А там, где тьмы и смерти был предел,
Где дикий человек в звериной шкуре
Полусуществованья знал удел,—
Там горы поднялись, упали воды,
Еще робея, появились всходы,
Еще робея, глянул человек
На легкие безоблачные своды,
На зеркала озер и тихих рек,
И новый мир, цветущий мир свободы,
Казалось нам, вступил в свой первый век.
Теперь-то, в простоте первоначальной,
Казалось нам, мы в мире заживем,
Жизнь будет ни счастливой, ни печальной,
А просто жизнью, бесконечным днем.
Здесь, на Эльбрусе, где погибли лозы,
Где скрылся подо льдами прежний цвет,
Впервые после долгих, мрачных лет
Смешались наши радостные слезы,
И мы поверили, и ты, и я,
На краткий миг,— но как же был он сладок!—
Что вечной будет прелесть бытия,
Что жизни переменится порядок.

Б о г

Ошиблись мы. Там, где добро, там зло:
Вот мирозданья истина простая.

Д ь я в о л

И все опять по-прежнему пошло,
И разделила нас вражда былая.
Быть может, вновь реакция цепная
Преобразит черты земных широт,
Но знаешь? Я теперь смотрю вперед,
Ни света, ни отрады не желая.

Б о г

Нет, уповать нам следует светло:
Добро без зла существовать не может,
И силу зла добро не уничтожит,
Но вижу, верю я: слабеет зло,
Добро неторопливо силы множит.
Мечтал я: светом поборю я тьму.
Теперь во мне живет иная вера:
Для тьмы есть мера и для света — мера,
И эту меру предпочтем всему,
Чтобы насилья меньше стало в мире,
Чтобы, ломая тысячу преград,
Свобода утверждалась ярче, шире.
Жди и надейся.

Д ь я в о л

Я надеюсь, брат.

1955

ТБИЛИСИ
В АПРЕЛЕ 1956 ГОДА

1

Ты городом чужим проходишь в первый раз
И дышишь днем весны, как первым днем творенья:
Не то что у тебя теперь острее глаз,
А просто в первый раз обрел ты счастье зренья.
Две старых женщины вступили в разговор
На спуске улицы, среди ее теченья.
Их темные платки, их жесты огорченья,
Причмокиванья, смех, сменивший жаркий спор,
Такого для тебя исполнены значенья,
Как будто ты старух не видел до сих пор.
Через парадную в квадратный тихий двор
Ровесник твой вошел. Ты думаешь: ужели
Он, как и ты, слуга обыденных забот,
А не волшебником направлен к тайной цели?
Вот в черной шапочке, в изодранной шинели,
Сжимая посох свой, седой пастух идет.
О чем бормочет он, спустившийся с высот,
Где снег еще лежит, к проспекту Руставели?
Знаком ли пастуху гуляющий народ?

2

Все удивительно, уму и сердцу внове:
Витрины книжные, старинный фолиант,
В чьих буквах эллинских есть терпкость божьей крови,
Невинной наглости образчик — южный фронт
И юной модницы призывный траур вдовий.
Повсюду разлиты весны веселый хмель,
Вино тщеславия и слезы тех недель,
Когда шумел раскат нерусского азарта.
Беспечно песенку свою бубнит апрель,
А в сердце и в глазах — печаль и ужас марта.
Нет, лучше за город уйти от этих глаз,

То осуждающих, то жаждущих участия,
То вопрошающих, то пьяных ядом счастья,
То гордых и пустых, то с хитрецей пролаз,
То пышущих огнем пытливого пристрастья.
Уйти от площади, где кровь детей лилась,
Так страшно обогрив подножье монумента,
Где целилась в толпу та воинская часть,
Что обрела врага — грузинского студента,
Уйти от дней, когда с ума сходила власть,
Уйти от пышности правительственных зданий,
Пойти булыжником вдоль городской стены,
Где колокольцев звон — как весть о караване,
Который проходил путями старины,
Чтоб слиться с облаком, сойти на нет в тумане,
Где храма древнего развалины видны,
В котором первые молились христиане,
Где скалы светлые глядят из глубины
Тех лет, когда сюда вступали Сасаниды, —
Как слезы на глазах подавленной страны,
Как маленьких племен застывшие обиды.

3

Край виноградарей, приют садов и льдов,
Животрепещешь ты в горах, как виноградник.
Асфальтовым шоссе, как ветер, скачет всадник,
Как будто гонит птиц, свободных от трудов
И в город мчащихся на митинг свой стихийный.
А вслед за птицами являются машины
Всех красок и цветов, всех видов и родов.
Они украшены паласами, коврами,
С бутылкою вина, дрожа, торчит рука,
Другая — с розами, а та, в квадратной раме,
Грозит прохожему рапирой шашлыка,
А сколько скрыл гостей брезент грузовика,
А запахи подлив, баранины и теста!
Вот в этом «москвиче» — с подругами невеста,
В зеленом «газике», под ветками, жених.
Знакомое лицо со стекол ветровых
На нас глядит, заняв незыблемое место,
И как бы говорит: «Живой среди живых,
Над ними властвую вовек. Смотри, приезжий:
Я тоже в свадебном участвую кортеже».

Три года он в земле,— не в той, что горяча,
 А в русской, северной, и эта годовщина
 Пришла и потрясла все существо грузина,
 И хлынула толпа, в бессилии крича.
 Не зверя алчного, не змея-палача,
 Чьим человеческим лицом была личина,—
 Грузинская земля увидела в нем сына,
 С которым жаждали все племена родства,
 В котором виделась побед первопричина,
 У ног которого державная Москва,
 Как суздальский князек перед ордынским ханом,
 На брюхе ползала... Покажется ли странным,
 Что смутной истины предчувствуя приход,
 Но так бессмысленно крича от долгой боли,
 Душою, как Исав, ожесточась в неволе,
 Убийцу своего стал чувствовать народ?
 Что там, где памятник, воздвигнутый при жизни
 Властителя, глядит на темную Куру,
 Стихи, что рабьему принадлежат перу,
 Читала девушка? Кто вправе укоризне
 Подвергнуть юности уверенный порыв?
 В тридцать седьмом году ее отца убили,
 Но небыль сущего важней минувшей были.
 Одическим стихом толпу заворожив,
 Она, как Жанна д'Арк, с прозрением крестьянки,
 Взывала к подвигу, который так красив,
 И только с виду слеп... Но появились танки.

Народ — как человек: из горя и тоски
 Не может строить жизнь, рассудку вопреки.
 Давно ль своих детей он хоронил угрюмо?
 Давно ль их приняла грузинская земля
 Без плача скорбного и жалобного шума
 И лишь в присутствии ночного патруля?
 Но вот уже с чела сошла страданья дума:
 Для новых радостей проснувшись поутру,
 Он пляшет и поет на свадебном пиру.
 Забывчив, значит, он? Иль попросту безволен?
 Иль, может быть, народ безумьем тяжким болен?
 О нет, он памятлив, как время. И жива
 В нем воля твердая,— он сам из естества

Свободы сотворен, в которой вечный разум.
Безумье буйствует иль, подчинясь приказам,
Стоит, недвижимое, в покорности тупой
С раскрытым языком над нижнею губой.
Но можно ли назвать безумьем день весенний,
Когда бежит вода нагорною тропой
И льдины валит вниз, и камни кружит в пене,
С твердынями зимы вступая в звонкий бой?
И разве пред тобой безумия приметы,—
На стеклах ветровых покойника портреты,
То в качестве листка, что взят из букваря,
То с мавзолея он вперед глядит надменно,
То в форме маршальской, раскрашенной отменно,
Блится, как кумир, прельстивший дикаря.
Нет, нет, спадут с дорог разгневанные воды,
Когда взойдет на свет весны желанный цвет,
Листки спадут с машин, когда, сердцам в ответ,
Кругом заговорит зеленый шум свободы.

6

Как благодарен я судьбе, явившей мне,
Грузинская весна, твоих путей начало!
Канун цветения гудит о новизне,
Укрытья нет в горах от снежного обвала,
По руслу высохшим вода забушевала,
Машины тонут в ней среди сырых ночей,
Взывая к помощи колхозных тягачей.
Где утром протекал чуть видный, одинокий,
И что-то милое лепечущий ручей,
Там на закате дня все шире, все звончей,
Все полновластнее воды бегут потоки,
И слышен смех ее невинный и жестокий.
Вот на шоссе толпа прелестных малышей.
Пойди сюда ко мне, красавец волоокий,
Тетрадки покажи. Ты сделал ли уроки?
Уроки? Что за чушь! Есть дело поважней!
Учитель приказал, чтоб с младшею сестренкой
Он вышел на шоссе. Рукою грязной, тонкой
Сжимая пузырек, в котором жидкий клей,
И палочку, она глядит глубоко взглядом,
Горда недетскою работою своею,
А старшие стоят с портретиками рядом,
Проехать не дают, кричат, и крик живой
Растет, усиленный гремящим водопадом.

Машине легковой, машине грузовой
Легко ль противиться таким простым засадам?
Попробуй откажись, в машину, в кузов твой
Тотчас посыплется камень крупным градом.

7

Гортанный крик детей, гортанный гул реки
Остановили «зим». Лихие седоки
Упитанны, важны и хорошо одеты.
Им дела нет до тех, кто им сует портреты,
До этой тоненькой протянутой руки.
Кто эти щеголи? Ученые? Поэты?
Видать, весельчаки, пожалуй, смельчаки:
Недаром не хотят детишкам подчиниться,
Должна же быть всему известная граница.
Куль личности навек отныне осужден,
Так требуют Москва, республика, район,
Пусть новая теперь откроется страница...
Созданья жалкие! Вчера, его рабы,
С богопоставленным не мысля и сравниться,—
Когда бы он моргнул, распяли б вы провидца!
Не вы ли нарекли чертогами гробы?
Вы были для него готовы на злодейство,
Презреть пророчество, прославить фарисейство,
Самим себе вознест позорные столбы,
Убить своих друзей, предать свое семейство,
В его жестокости увидеть благодать
И прописи его умильно повторять.
А нынче с детворой вы спорить не боитесь,
Послушать вас, так вы святители: один —
Оплот униженных, другой — свободы витязь,
А третий — чистоты и правды паладин.
Вам отвратительно его обожествленье?
Вам жаль, сердечно жаль обманутых ребят?
За ними взрослые, вам кажется, стоят?
Да это же воды весенней наступленье,
Да это же весна, весна, сама весна
Стремительно спешит навстречу летним грозам!
Она потоками нечистыми полна,
Где прошлогодний снег бежит с трухой, с навозом,
Но это же весна, и свет несет она
И виноградарям, и виноградным лозам.

«Прощайте,— мысленно твержу я детворе,—
 Еще мы встретимся среди пути иного!»
 Вдруг захотелось мне вернуться в город снова
 К толпе гуляющей, к играющей Куре,
 Где, чтоб напомнить нам о зле или добре,
 Вознесся монумент могуче и сурово.
 Понятней стала мне теперь его основа.
 Он полужнайкою себя обозначал
 Еще когда о нем не слышали грузины.
 Он состоял из двух тождественных начал,
 И лишь тогда в одно слились две половины,
 Когда соперников своих он в прах втоптал,
 И над империей вознес провинциал
 Изрытый оспой лик — ужасный, двуединый.
 Он вырос в племени. Интернационал
 Считал он глупостью, интеллигентством, барством.
 Как к ногтю Ленина больного он прижал,
 Так революцию прижал он государством.
 В нем льстивый жил торгаш, в нем жил продажный раб,
 В нем жил кавказский плут, в нем наглый жил сатрап.
 К межплеменной вражде всем сердцем тяготая,
 Он видел вместе с тем светильник Прометея.
 Для гнева всемогущ, он был для воли слаб.
 Гуляка и ханжа, святоша и убийца,
 Он мог взлететь и пасть, он мог дарить и красть,
 Он мог не только лгать,— над правдою глумиться.
 Москва, и Русь, и мир его признали власть.
 О, то не Рим признал на краткий миг нубийца,—
 То победило зло, что в тайне в нас росло.
 Он библией нарек насилья ремесло,
 Первосвященником назвал себя разбойник...
 Пусть на душе у нас, как прежде, тяжело,
 Но сладко нам теперь о нем сказать: покойник.

Однако разве мы обязаны себе
 Отрадой светлою? Неслыханное бремя
 Мы разве сбросили, разрушив гнет в борьбе?
 Он был старик. Его предсмертной похвальбе
 Внимали мы, дрожа, рабов бессильных племя.
 России помогли не мы, не мы, а время.

Об этом времени сказал один зэка:
«Смерть стала роскошью, смерть стала сверхдобрством».
А чем же стала жизнь? Растленьем языка?
Иль похотью души? Иль разума холопством?
Иль мы, что на других смотрели свысока,
Червями расползлись? Иль разрослись хвощами?
Иль, отданы в заклад, мы сделались вещами?
А так как нас томит неясная тоска,
То духу мертвому затем и смерть потребна,
Чтоб в человечество вернулись мы волшебю?
Ответьте нам скорей рычанием зверей,
Пыланием печей, глаголом лагерей,
Лазурный Волго-Дон, истлевшая Трешлинка
И ты, на площади убитая грузинка.

1956—1958

СОЛИКАМСК В АВГУСТЕ 1962 ГОДА

Не верю я, что есть родильные дома,
И всякой мудростью обильные тома,

Что Пермь Великая и Малая, лесная,
В былое канула, что началась иная

Цивилизации державная пора.
Не верю я, что есть, помимо топора,

Другой завет людской, что рухнули кумирни,
Что можно выпарить печаль, как соль в градирне.

Рифмуя «соль» и «боль», слагались здесь года,
С ноздрями рваными гуляла здесь беда.

Здесь кровью каторжной окрашен каждый гарнец
Солей, полученных из строгановских варниц.

Здесь княжил дикий бор, но идолище-бог
Вогулам, остякам и беглым не помог:

Склонился истукан пред русским чистоганом.
Три церкви каменных, в столетье деревянном,

В семнадцатом сошлись, блистая и круглясь,
На площади, где снег сменяли пыль и грязь.

За ними — дом купца, обрюзгший, старый, серый,
Теперь гостиница. Живут в ней офицеры,

Те, что живут везде и охраняют нас:
За нами, падлами, ведь нужен глаз да глаз.

Спускаюсь ли я с горы задворками на берег,
В автобус протолкнувшись, войду ль в пугливый скверик,

В столовую — «Лесник» иль в «Металлург» — в кино,
Где днем и вечером солдат полным-полно,—

Мне кажется: я дичь. В зеленом полумраке
За мной охотники следят и их собаки,

Еще не порешив: свалить, сварить и съесть
Иль пригласить меня с собою рядом сесть...

Поодаль, на холме, есть новые кварталы,
Дома с удобствами. Взбираюсь к ним, усталый,

И зону с вышками я вижу с вышины,
И лампы, что и днем зачем-то зажжены.

Вот так средь города, средь школ и гастрономов,
Аптек и ателье, читален и райкомов,

Есть лагерь и тайга, лежневка и конвой...
Что человечества весь опыт вековой,

Все революции, прозренья и открытья,
Этапы нашего культурного развития!

Один лишь поворот, один лишь краткий миг,—
Летят ко всем чертям законы умных книг,

И вновь закон — тайга: канон лесоповалов,
Евангелье волков, симпозиум шакалов.

Иду по городу и знаю: за спиной —
Сержант и старшина из роты розыскной.

Я приметил их, запомнил их приметы:
Бредут вразвалочку, в гражданское одеты,

Но бравых гавриков (понятлив наш народ!),
Увы, защитный цвет рубашек выдает.

Я думаю: копить весь месяц хлеб из пайки
Тайком от подлеца и опера-всезнайки;

Покуда любитя со школьницей стоймя
Конвойный из лезгин,— пробраться, не шумя,

К столбу, где вскопана земля; во тьму лесную
Бежать; запутать псов; приблизиться вплотную

К погибели, где топь и гнуса подлый плач,
Где листья ссучились, где каждый сук — стукач;

Узнать звериный страх; страдать алчбой звериной;
Плутать в болотных мхах грядую, мочажиной;

Лишайник, тутровик у бедных белок красть
И в город наконец в ночь августа попасть;

В теплушке спрятаться, мечтать: есть дом и баба
На станции Убыть, на полустанке Жаба;

Гудки, гудки; шаги; свистки; обход ночной —
И свет, и ты в руках у роты розыскной!

И вот железные надежные браслеты
Надеты на руки и на ноги надеты,

И в изоляторе штрафном на грязный пол
Ты тихо падаешь спиною вверх, и стол —

Ногами вверх — тебе на спину опрокинут.
Теперь-то из тебя, поверь мне, душу вынут!

Попрыгает солдат — его аж бросит в пот,—
Он легкие тебе с печенкой отобьет,

И — ни царапинки, ни синяка на теле!
Ты болен, при смерти... И через две недели

На волю выйдешь ты. Но только знаешь, брат,
В земле не будет греть из дерева бушлат!

...Сержант и старшина направились к вокзалу,
И мы туда пойдём. Глазам спервоначалу

Откроется пустырь и зона для блудниц,
Бездельниц, клеветниц, торговых учениц.

Известный лагерь: насмешниками злыми
Ему присвоено Восьмого Марта имя.

Вдали без вывески, без надписи барак
И узкий вход: вдвоем нельзя пройти никак.

Налево — сразу дверь милиции. Направо —
Обитель опера, судилище, расправа.

Угрюмый коридор ведет в просторный зал,
Достойный, чтоб его свидетель описал.

На скамьях — две семьи: хохлы из Закарпатья,
Давно узнавшие, что мы родные братья.

Их дети родились в тайге, но есть приказ —
Пусть возвращаются домой в счастливый час.

Интернационал: удмурты, немцы с Волги,
Казак-иеговист, срок отбывавший долгий,

Солдатик, что в эска бежавшего стрелял,—
За это получил он отпуск на Байкал.

В оконце в глубине стены, как светоч мира,—
Неясное лицо всевластного кассира.

Перрон. Вагонов нет. Безлюдно. Тишина.
Вниманье обрати, Федюшка-старшина:

Куда пошел дружок? Видать, сидел в буфете.
Он с чемоданчиком, в тельняшке и в берете.

Но глаз наметанный преступника проймет.
Вдвоем они берут парнишку в оборот.

Он вырывается, ему ломают руки,
Бьют в зубы и в глаза,— успехи есть в науке! —

И к оперу его, голубчика, ведут.
Всего проходит пять — не более — минут,—

Отпущен: он — монтер. «Произошла промашка,
Езжай в Березники». В крови его тельняшка,

В крови его лицо, его глаза в крови...
О жизнь, к чему ты мне, свой бег останови,

Я биться не хочу о стенку головою,
Я лучше в лес уйду, я лучше волком взвою,

Назад, назад, во мглу, в пещеру, в мезолит,
Где дротик дикаря мне сердце исцелит!..

Градоначальника ты видишь дом старинный?
Зайдем в музей. Кругом — прошедшего картины.

Гражданская война. Вот несколько депеш,
Рисующих уезд, эсеровский мятеж.

А вот и наши дни: строительство завода,
Пермячка знатная, избранница народа.

Страда. Борьба за мир и счастье всей земли,—
Тот путь, который мы с таким трудом прошли.

Куда же мы пришли?

1963

ФАНТАСТИКА

ФАНТАСТИКА

Я тоже научился вздор молоть,
Как нынешние рифмачи, и эти
Подробности тускнеют в ровном свете
Потребностей, насущностей, желаний.
Но верьте, я ходил по той планете,
Где ангелы — единственная плоть
Двуногая, где на густой поляне
Беседовали меркнувшие лани
С двухмерным очертанием коня,
Где легких красок яркая возня
То отнимала зрячесть у меня,
То внутренним усиливала зреньем,—
Иль, может быть, то было озареньем?

Я начинал блаженно понимать,
Что птица и гнездо, волна и гладь,
И отблеск бабочки, едва приметный,
И клинопись в обличии растения,—
Не признаки, не знаки, не виденья:
Они вещественны, они предметны!
Умершие по воле Провиденья,
По той же воле ожили опять,
Но жизнью неземною, необычной,
В которой нет ни страсти, ни хотенья,
Которую нельзя и счесть вторичной,—
Иль высшей надобно ее признать?
И ангелы, прекрасные, как звери,
Бытующие в логовищах книг
Иль в откровеньях мифов и поверий,
Не двигались сквозь них иль мимо них,
А разговаривали с каждым бликом,
С живым иероглифом вещества,
Уверенные: это существа
С неповторимым образом и ликом.

Не думал я, что скоро так расстанусь
Со всем, что здесь увидел,— потому-то
Увидел мало. Я заметил странность
У ангелов. Мне показалось, будто
Они боялись,— так же, как в Гоморре,
Где каперс рассыпался, цвел миндаль,
По улицам разгуливала шваль,
Кузнечик тяжелел и тяжелело
Запретное желанье в женском взоре —
Да и в мужском... В томленьи и тревоге
Они крылами прикрывали ноги
И ждали сладостно и неумело
Диавола. Давно случилось дело,
Откуда же теперешний испуг?

Ни грешников, ни бесов нет вокруг,
Тиха, красива этих мест особость,
Сияние в сиянье растворилось,
Откуда же у ангелов их робость
И эта безнадежная унылость?
Иль поняли, что бесы не вовне,
Что бесы в них самих растут, томятся
Бездействием, к движению стремятся,—
Тогда-то гаснет разум на войне
И кровью агнца алтари дымятся.
Как жить при пожирающем огне?

Не останавливался взгляд на мне:
Им, брошенным в сей страшный мир Всевышним,
Им, обалделым, я, наверно, лишним
Казался, а меня меж тем влекло
Безвольное всевластье светотени,
Какое-то волшебное стекло,—
Осколки позабытых наблюдений.

Здесь было то, что я видал когда-то:
Нет, не тела и даже не дела,
А, скажем, смех австрийского солдата,
В плену не унывавшего хорвата
Иль дворниковы бляха и метла.
Мне кванты света память принесла,—
И друга юности я вижу снова,
Беспаспортного, умного, дурного,
Чья хата — полуночные вагоны
Да пригородный холод законный,

Вокзалы развороченной Москвы
Да лагерь, вбитый в оболонь мордвы,
Где он узнал впервые речь травы,
Которая сложней стихов и шахмат,
И то, как люди пахнут, люди чахнут,
Потом самим себе копают рвы.
Со мной всегда и русость головы,
И беглая, надменная усмешка.
Так усмехался и другой поэт,
Гневливый мот, печальный сладкоежка...

Еще блистает из наземных лет
Мне вывеска: «Гофре, плиссе, мережка».
А вышивальщик не терпел зеленых,
Ни белых, ни Петлюр и ни Буденных,
Ни конных, ни матросов, ни пехоту.
Был недоволен губчечкой кустарь:
«Грабеж! Они хватают на работу!
Чтоб стало хорошо, нам нужен царь!»
Вы тоже здесь? Вы здесь, мосье Дегтярь?
Ах, впрочем, вас убили. Там, на бойне.
Вы думали, что немцев ждать спокойней —
С пятью-шестью соседями — на даче:
От моря далеко, и недостачи
В продуктах не предвидится, горячий
Степной песок, чабрец, полынь и мак,
А немец — он культурный, не босяк.
Ну, будет гетто. Чем же хуже гетто,
Чем это? Боже мести и завета,
О сделай так, чтобы погибло это!

И там, как здесь, тогда кончалось лето,
И так же было тихо, но иной
Была земля объята тишиной.
Все то, что было чем-то, становилось
Ничем,— трава, песок, улыбка, вздох.
Казалось, город онемел, оглох,
И время навсегда остановилось
Для нескольких семейств. Но так казалось.
День незаметно убывал, как жалость.
А что же каждый говорил на даче
Себе, друг другу в долготе ночей?
Что сделали бы жертвы при удаче?
Могли ли превратиться в палачей?

Их даже и не выдали: к участку
Направились, как будто их вело
Заклятье или рабье ремесло —
Обожествлять приказ, указ, указку.
Они пошли,— сперва Преображенской,
А после, повернув, Херсонским спуском.
Прелестный город стал чужим, нерусским.
Пахнуло далью полудеревенской,
Лиманами... Они не взяли маму
К себе на дачу,— мол, не хватит места,
К тому же мама из другого теста,
И без нее, растрелянные, в яму
Они легли... Теперь и мама с ними —
Спокойными, иными, неземными.

Акация ли с нашего двора,
Седа, и большеглаза, и добра,
Иль мама вдруг со мной заговорила:
«Сынок, проверь: я нашу дверь закрыла?
Не то, не то... А как моя могила
На Востряковском? Все не то, не то...
Не надо думать, будто мир — Ничто:
Мы — все, и мы во всем, и все есть в нас.
Ты полюбил, сынок? Ну, в добрый час:
Уже не молодой, а в первый раз.
Как долго продолжалась к ней дорога!
Она похожа на меня немного?
Вот потому ты с ней не разминулся!»
И я рукой седых цветков коснулся:
«Любовь есть Бог. А разве можно Бога
В последний раз иль в первый раз любить?
Я вспомнил то, что пожелал забыть.
Я не пришел к любви,— я к ней вернулся».

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Посвящается И. Л.

Быть может, потому, что я не раз
Слагал об этом мысленно рассказ;

Иль небо мне навстречу устремилось,
Послав мне слушательницу, как милость;

Быть может, потому, что старый год
Постиг, уже не споря, свой исход;

Иль, может, потому, что в этом месте
Сближалось бурно с городом предместье;

А может быть, все дело было в них,—
В нерастворенных газах выхлопных,

Иль в том, что там, где молод был когда-то,
Теперь к тебе спешил я вдоль заката,—

Нарушен был планетный обиход:
В два яруса вставал небесный свод.

Мне озером казался верхний ярус,
Челн самолета в нем купал свой парус,

А в нижнем краснопалая рука
Как бы остановила облака.

И мир волшебный, горный, двуединый
Так засиял во мне, что из машины

Иная мне привиделась зима:
Там, где теперь возвысились дома,

В годину мелкости и завирухи
Построенные в современном духе,

(Так, к слову: может, в том-то наш недуг,
Что времени мы подчиняем дух),—

В те годы ладно струганной толпою
Стояли пятистенки под щепою,

Однако же соседствуя порой
С приземистой постройкой городской.

Запомнились мне к станции поближе
Аптека, и амбар кирпично-рыжий,

И крест, сквозь вечереющий простор,
Как мученик, взошедший на костер,

Над храмом, лишь на днях приговоренным
К бездействию активом межрайонным.

Скворешни, и колодцы, и для пчел
Колоды, и умолкнувший глагол

Колоколов,— все было мне предвестьем
Того, что разразится над предместьем.

Я медленно оглядывался здесь.
Впервые в русскую попал я весь.

Ты не узнала б нынешнего друга
В том юноше, в том уроженце юга.

Но были ль странными мои черты?
Смесь жажды жертвенности и тщеты,

Невежества, начитанности, вздора,
Непримиримости и термидора.

Меня сюда устроил мой земляк.
Он видел сам себя среди гуляк,

Среди бродяг, веселых и беспутных,
Певцов и птицеловов неприютных.

А там и новый образ: военспец,
Кавалерист... Ты улыбнешься: лжец?

Но, право, это было б слишком просто!
Женственноплечий, но большого роста,

С седым вихром на молодом челе,
Артист и мой наставник в ремесле

Словесном,— он сверкал серо-зеленым
Сверканьем глаз, он был Пигмалионом,

Который самого себя лепил,
Но не себя — ваяние любил.

Он из себя выдавливал еврейство
Горячкой романтического действия,

Ружьем или манком в ловецкий час,
Да строчкой, просмоленной, как баркас.

Все, что искал он раньше в чудных книгах,
Он находил в наркомах и комбригах,

В тачанках и кожанках, и обман
Он впрыскивал в себя, как наркоман,

Нет, как шаман, камлал он иступленно,
Завороженно славил гегемона

И бунта дикого девятый вал,
Но иногда глаза он раскрывал,

И пред внезапно исцеленным взглядом
Метался меж Махно и прототрядом

Несчастный украинец-хлебороб,
Иль сердце вдруг сжимал, бросал в озноб

Тот соловей, что пел в газетной клетке.
А голос у него был чистый, редкий,

Первопородной звонкости, хотя
Наставник мой дышал, хрипя, кряхтя,

Стихи в среде читая разномастной.
Потом шутил: «Могу бороться с астмой,—

Одно спасительное средство есть:
Вслух Мандельштама надобно прочесть».

О говор юго-западный, певучий!
Как поднималась истина созвучий

Из глубины в те дни заглохших строк:
Случевский, Ходасевич, Клюев, Блок...

Усевшись, будто сарацин ленивый,
Мои выслушивал он инвективы,

С насмешкою над молодостью лет
И лишь привычно негодуя: «Бред».

(Он и мою рифмованную шалость
Словечком этим награждал, случалось.)

Однажды я стихи отнес в журнал,
Где он служил: знакомством не желал

Воспользоваться,— отдал секретарше.
Что ж начертал на них товарищ старший?

«В «Епархиальный вестник»...» Два-три дня
К нему не приходил я. Но меня

Он утром навестил в моем чулане.
Спросил в дверях: «Чи вы сказались, пане?

Прочтите что-нибудь». Я стал читать:
Слаб человек... «Искусно, но опять —

Набор отживших мыслей: вера, вече,
И прочее, и воля... Сумасшедший!

У вас есть слух, не слишком острый глаз,
Но четко вы рисуете подчас.

Пишите то, что от пупа, от пуза.
К чертям ваш детский бред! Пусть ваша муза

Со всей страной двинется в поход!»...
Мой детский бред... О двадцать первый год!

Копилка еле тлеет. Голодаем.
Однако мамалыгой и малаем

Торгуют бабы из молдавских сел.
Сгорел собор. Обледенел костел.

Как в раю, ни к чему работа.
Чуть вечер — запираются ворота

С прорубленным квадратиком-глазком:
Тот не войдет во двор, кто незнаком,—

С винтовкой, то пугаясь, то рисуясь,
Жильцы дежурят, важно чередуясь.

Нас начал часто посещать один
Занятный гражданин. Свой сахарин

Он приносил, и в кипятке чайники
Всплывали вверх, и жмых шипел в румынке,

И нам рассказывал знакомец наш
О том, как он пришел на вернисаж

В Париже, о балетных чародейках.
Он прежде был богат,— из братьев Лейках,—

(«Кастор, трико, маренго, шевиот»),
Вел старший брат торговый оборот,

А он, коммерцию презревший с детства,
Жил на процент с отцовского наследства.

Он был, что называется, эстет.
Среди разрухи щегольски одет,

Он облик сохранил эпикурейский,
Отцу сказала мама по-еврейски

(Чтобы понять не мог я ничего),
Что бросила любовница его

В тот день, когда бежали офицеры
В Стамбул. А он визитки и портьеры,

С трудом входя в базарную толпу,
Менял на хлеб и ячную крупу.

...К нам в дом вступили двое в вечер поздний:
Изъятие излишков. Но о розни

Как бы не зная, мой отец в ответ
Явил свой меньшевистский партбилет.

Увидев «РСДРП» на книжке,
Решили нам оставить все излишки

Еврей в папахе и кацап матрос.
Но был еще, как видно, и донос:

Велели гостю нашему одеться
И молча увели... Одесса, детство

И выстрел в том холодном феврале.
Мы выбежали в ночь. А на земле

Он у ворот лежал. Пришел Никита,
Заика-дворник. Бормоча сердито,

Он зажигалкой осветил пальто.
А кто в пальто? А что в пальто? Ничто.

Густела кровь на котиковой шали
И ничего глаза не выражали...

Родная, смерть я видел на войне,
А случай был,— стрелять пришлось и мне.

Но дворник что-то мне всю жизнь бормочет,
Та смерть во мне — и умереть не хочет.

Быть может, потому себе не лгу,
Что от нее отречься не могу...

Я рассказал ему про двадцать первый,
О выстреле... «Эстеты эти — стервы,

А есть закон для стоящих людей:
«Того, кто должен быть убит,— убей».

(Позднее безнадежней, непреклонней
В стихах об этом скажет он законе.)

Тянулся он к чекистам. Среди них
Загадочней, острее остальных

Казался Блюмкин, тот, кто Гумилевым
Был обозначен живописным словом,

Тот, кто стрелял в имперского посла.
Но чья рука его рукой вела?

Романтик принимал его с опаской,
Но и с восторгом перед мрачной сказкой.

В ту зиму наш поэт увлекся вдруг
Историей Конвента. Часто вслух

Он максимы Сен-Жюста и Марата
Читал чуть нараспев, но хрипловато,

И во французских слышались речач
Сегодняшняя боль и русский страх:

Уже рождалась в той зиме тревога.
Как и его друзья, он думал много

О том, кто был, завернутый в ковер,
В Алма-Ату отправлен под надзор...

За липами, где горизонт сиренев
(Как в «Накануне» описал Тургенев),

Расположились дачи у реки.
Там жили крупные большевики.

Мы шли туда путем кратчайшим, что ли
(Сейчас уже не помню), через поле.

Вдали дома чернели, и сперва
Мне избами казались деревья.

Природа нас разглядывала молча.
Пес выскочил, остановился. Волчья

В собаке мнительность была. Кругом
Все в древность шло. Великий перелом

Как бы не нависал над земледелом.
Еще был чьим-то вотчинным уделом

Окрестный край, и даже Юрьев день
Еще не наступил для деревень,

Лежавших за снегами, за веками,
А мы брели по полю чужаками.

И только поездов упрямый бег
Напоминал, что есть двадцатый век,

Ломающий обычай, веру, право
С самонадеянностью костоправа...

Мы направлялись в гости. Он с собой
Взял и меня, чтоб одному домой

Не возвращаться в стуже долгой ночи.
Он ликовал: «Путиловский рабочий,

Как говорится, парень от станка,
Работает инструктором Цека.

Жена — бабец что надо, одесситка,
Моя приятельница...» Вот калитка

И с мезонином деревянный дом.
Они в хоромах стали жить потом,

Тогда лишь каждый потрох обнажили,
Когда самих себя распотрошили.

Сама хозяйка нам открыла дверь.
Что в отошедшем вижу я теперь?

Авторитарную непринужденность;
Ее шифоновое платье; склонность,

Однако, там, где нужно, к полноте;
При этом ноги тонкие; и те

Глаза, что нравились великороссам,—
Тем выдвигенцам кряжистым, курносим;

На слишком выпуклой груди янтарь;
Партийно-артистический словарь,—

Все это было сказкой, стало былью
И, сгнив, смешалось с лагерною пылью.

И то, что и не снилось гольтепе —
Стоячие часы и канапе,

Дворянских гнезд разрозненная мебель,—
Все так же превратилось в пыль и небыль...

Нам приготовили домашний стол.
Был лишь один нерусский разносол —

Со шкваркой редька. И лафитник с горькой
Был позлащен внутри лимонной коркой,

И смех, и «я люблю лесную глушь»,
И как-то странно появился муж,—

Как будто ниоткуда, не из двери.
Воображенье или суеверье?

Он был урод. Он был колдун-урод!
Почти что карлик. Был наполнен рот

Несхожими зубами,— будто в разных
Ртах реквизированными. Приказных

Снабжали, вероятно, в старину
Глазами из такой слюды. К окну

Он резко подошел и, к нам спиною,
Зачем-то постоял перед ночью

Безмолвной тьмой, придвинув лоб к стеклу,
И, повернувшись, пригласил к столу.

Тост произнес. «Так, значит, мы соседи»,—
И перестал участвовать в беседе.

Поэт с хозяйкой вспоминали юг,
«Зеленой лампы» одаренный круг,

Потом он стал читать. Читал с подъемом,
Со свистом, звоном, щелканьем и громом.

Хозяйка сделала глазами знак:
Мол, восхитись. Хозяин-вурдалак

Сказал, вульгарно ставя ударенье:
«Иметь было б неплохо точку зренья:

Вы пограничник иль контрабандист?
А стиль у вас, что говорить, речист».

Кто мог предположить, что мы в берлоге
Бесовской? Что уродец кривоногий

Сей недоумок бедный — сатана,
В чьих рукавицах смерть заострена,

И что кромешников народ грошовый
Ужахнется при имени Ежова!

Но горе нам: не бес и не колдун,—
Крючок приказный, ябеда, топтун,

Лет через семь, умом и волей скудный,
Какою же, однако, силой чудной

Принудит баловней и главарей,
Светил наук, героев, бунтарей

Гнить в гноище изгоями рассудка?
Вопрос тяжел, но и ответить жутко.

Мы вышли. Ночь. Постройки и дворы
Черно молчали на снегу. Миры

С белесой выси, в воздухе студеном,
Мерцанием сияли отчужденным,

И сосны пред княгинею — зимой
Стояли, как стрельцы, и спутник мой,

Сердечных не любивший излияний,
Насмешник и остряк, как все южане,

Нагнулся, обхватил меня рукой,
От слез и снега мокрою щекой

К моей щеке неловко прикоснулся.
Иль божий свет опять на миг проснулся

В незрячем? Иль буран грядущих лет
Провидит оком голубя поэт?

1974

Покров земли сырой, зелено-черный,
Объединил чиновников, купцов,
Певицу, вратаря футбольной сборной,
Глупцов и умных, щедрых и скупцов.

Мы чувствуем, — восходит свет соборный
Над местопребываньем мертвецов,
И остро удивляемся упорной
Настойчивости временных жильцов —

Своих усопших прикрепить к обрядам,
К священным знакам, званьям, должностям,
Их приобщить к сегодняшним страстям,

Как плиты приобщаются к оградкам,
И совершается без лишних слез
Покойника неспешный перенос.

2

Покойника неспешный перенос
От церкви к яме, купленной за взятку.
Все рос, а до могилы не дорос:
Скончался, — не включили в разрядку.

Хоть от начальства был родне разнос, —
Отпели по церковному порядку.
Зачем же он вносил партийный взнос,
Угодливую резал правду-матку?

Себя стыдом ни разу не казнил,
И смертью он себя не изменил,
Смерть стала, как и жизнь, рабой покорной.

А мясу все равно, где дотлеть:
Удобна деревянная кровать
И около кладбищенской уборной.

3

И около кладбищенской уборной,
О чем душа не знает ни одна,
Спит безымянно под травую сорной
Им брошенная первая жена.

Безлунной ночью, поймой приозерной,
Бежала из колхозного звена,
Спилась на фабрике — и в безнадзорной
Могиле успокоилась она.

С ним в городе она не повстречалась,
А с ним росла, любила и венчалась,
Обоих гнул и обманул колхоз.

Не пеночка ли тоненько запела?
Меж двух могил есть и живое тело —
На майском солнце греющийся пес.

4

На майском солнце греющийся пес —
Неприкасаемый в державе мертвых.
Вдруг, повернувшись, трет он свой расчес
О землю, прячущую распростертых.

Он болен. Вкусно пахнувший отброс
Не дразнит ни чутья, ни лап мухортых,
А что касается увядших роз
Или других цветов полуистертых,—

Он их не слышит. Оба мы больны.
И я принадлежу к презренной касте,
И я, как пес, забыл мечты и страсти,

И для меня во времени равны
Дыханье блеклых роз и запах хлорный,
Герой-пилот, советник ли надворный.

Герой-пилот, советник ли надворный,—
И тот, и этот выросли в избе.
Удачей, участью почти фольклорной,
Они обязаны самим себе.

Кто был возвышен службой ратоборной,
Кто — при царе — довлел иной судьбе,
Но хоть бы раз строптивый, несговорный
Проснулся ль дух в том иль другом рабе?

Здесь, в недрах, не найти бессмертной силы,
Здесь только сгустки крови, кости, жилы,
Заране сделанные на износ,

Над ними только святцы, только словник,
В котором тлеют летчик иль чиновник,
Иль школьница под сенью двух берез.

О школьнице под сенью двух берез
Рассказывают знающие люди:
Девчонку изнасиловал матрос,
Потом отрезал губы ей и груди.

Судили — наказание понес:
Он в лагере среди мордвы и чуди...
Как тихо! Но, быть может, отзвук грёз
Не смолк в обезображенном сосуде?

Мечтала стюардессой, что ли, стать,
С пилотом-мужем раз в три дня взлетать...
О беглый поцелуй и гул моторный!

Увы, догадка чересчур проста:
Что скажет нам святая немота,
Что памятник нам скажет рукотворный?

Что памятник нам скажет рукотворный?
Что каменная скажет голова?
Он был поэт. Слагал он стих отборный,
Рожденный, будто в праздник Рождества.

Крестьянин и гуляка подзаборный,
Какие, Боже, он творил слова!
Они раскинулись, как луг просторный,
И пахнут, как рязанская трава.

Он сам как слово пожелал родиться,
Но спит в сырой земле самоубийца,
И все же дух его прими, Христос!

А что пропеть уехавшему сыну,
Крамольнику, жиду наполовину,
Да и какой задать ему вопрос?

8

Да и какой задать ему вопрос?
Здрав штаны, бежать за комсомолом?
В деревне скоро лето, сенокос,
Но солнце смотрит глазом невеселым.

Крестьянин ноги из села унес,
И пышным не вернуть его глаголом.
Пошло все то, что было, под откос,
На мельницу не едут за помолом.

Так жизни закружилось колесо,
Что на Руси не нужен стал умелец
И сделался игрушкой земледелец,

Как в басенке предвидел Шамиссо...
С поэтом рядом спит помещик местный.
Друг другу были ли они известны?

9

Друг другу были ли они известны,—
Кудрявый босоногий паренек
И земец, дворянин мелкопоместный?
Был на его усадебке конек,

Но съел усадебку пожар окрестный,
Да что пожар — мгновенный огонек!
И вот в столице он — конторщик честный,
Голодный выдают ему паек.

Однажды в Стойло он забрел Пегаса,
Но не признал в поэте земляка.
Он рано смертного дождался часа,

По-разному душила их тоска,
Был звонкому не нужен бессловесный,
Когда носили свой наряд телесный.

10

Когда носили свой наряд телесный,
Сживались души лишь посредством уз,
Теперь, найдя земной или небесный
Приют, костей и мяса сбросив груз,

Поняв, что каждый день есть день воскресный,
Что поражение потерпел искус,
Они образовали свой чудесный,
Безытный, целомудренный союз.

Для них многоименные могилы,
Где возле новоселов — старожилы,
Есть община, что тихо разрослась,

Где православный, иудей, католик —
В одном плоде суть совокупность долек.
Иль близость их позднее родилась?

11

Иль близость их позднее родилась?
Вот в рясе цвета грязного индиго,
За полцены о грешных помолясь,
Идет ко мне знакомец — поп-расстрига.

«Давай-ка выпьем, ханаанский князь!
Ах, Израйлич, водка — та же книга!»
Садится на траву, перекрестясь,
На холмике — чекушка и коврига.

За что из причта выгнали? Молчит,
Но льются слезы черные обид,
Мол, у других — богатые приходы.

Мы оба не нужны. И мы больны
Сознанием малой и большой вины,
А в памяти — разрозненные годы.

12

И лишь когда, в разрозненные годы,
Я спутников терял во мгле путей,
И сердцем погружался в переводы
Мистических, старинных повестей,

И то, что пели в древности рапсоды,
Свежее было мнимых новостей,—
Я постигал отчаянье природы,
Внимавшей празднословию людей.

К ним обращался голос Откровенья,
А многие ль прислушались к Нему?
Но радостно поняв непрочность рвенья —

Любить, хвалить и украшать тюрьму,
И прутья плотской разорвав породы,
Их души вырвались в предел свободы.

13

Их души вырвались в предел свободы.
Поют и пляшут за стеной тела.
День выходной. Забыты все невзгоды.
Бежит проигрывателя игла.

Что им универсамы и заводы,—
Толпа по-деревенски весела.
Как Рим подмяли пришлые народы,
Подмяли город жители села.

Из их среды выходят прокуроры,
Официанты, дипломаты, воры,
Писатели, начальственная мразь.

И смотрят души на тела чужие,
На беглых в новосозданной России:
Меж ними на земле возникла связь.

Меж ними на земле возникла связь,
 Но это смутно сознают живые,
 И только после смерти возродясь,
 Вдыхают воздух вольности впервые.

Но разве мы — лишь пепел, глина, грязь?
 Иль наших женщин муки родовые —
 Не Божья боль? Иль мы, соединясь
 С ушедшими в пространства мировые,

Не можем зренье духа обрести
 И жить должны в неволе, взаперти,
 И в слепоте и духоте затворной

Не видеть, как сияет мир земной,
 Как дышит воскрешающей весной
 Покров земли сырой, зелено-черный?

Покров земли сырой, зелено-черный,
 Покойника неспешный перенос
 И около кладбищенской уборной
 На майском солнце греющийся пес.

Герой-пилот, советник ли надворный,
 Иль школьница под сенью двух берез,—
 Что памятник нам скажет рукотворный?
 Да и какой задать ему вопрос?

Друг другу были ли они известны,
 Когда носили свой наряд телесный,
 Иль близость их позднее родилась?

И лишь когда, в разрозненные годы,
 Их души вырвались в предел свободы,
 Меж ними на земле возникла связь.

ВЯЧЕСЛАВУ ЖИЗНЬ ПЕРЕДЕЛКИНСКАЯ

О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бремению?
Державин. «Евгению. Жизнь Званская»

Нам здешних жителей удобно разделить
На временных и постоянных.
Начнем же со вторых. Ну как не восхвалить
Семейство елей безымянных!

То наблюдатели писательских семейств,
Влиятельных и именитых,
Воспоминатели бесовских давних действий,
От новых порослей сокрытых.

Пойдем ли мысль берез — белопокровных жриц,
Всем чуждых в этом околотке,
В ветвях орешника густого щебет птиц,
Столь вопросительно-короткий,

Среди живых стволов мощь мнимую столбов,
Где взвизги суеты советской
Смешались с думою боярскою дубов
И сосен смутю стрелецкой,

Жасмина, ириса восточный обиход,
Роскошество произрастанья,
В то время, как в листьях незримая идет
Работа зрелого страданья,

Качает иван-чай ничтожные права,
Лелея колкую лиловость,
А подорожнику все это трын-трава,
Ему скучна любая новость.

Пойдем ли, почему замолкли соловьи,
А переимчивые славки
Бессмысленно свистят вдоль узкой колеи,
Ведущей к бакалейной лавке.

Угрюмо царствует глухонемая суть,
И лишь иной христопродавец
Вздыхает, сквозь кусты услышав шумный путь
В какой-то Малоярославец,

А то и грубый гул, среди прямых аллей,
Ассенизаторской машины,
И тех, чьи номера, начавшись с двух нулей,
Внушают трепет беспричинный,

И той, где мичманы, усевшись на корму,
Следят за полным адмиралом,—
Остановиться ли? Напомнить ли ему
Про службу под его началом?

И той, что к трем часам, преодолев запрет,
Скрипя как будто бы с натуги,
Из дома творчества привозит нам обед
На имя Инниной подруги,

А до нее для нас еду, не трепеща,
Каверин заказал маститый,
Тогда поболее давали нам борща
И ели мы гарнир досыта.

Цифирью выучен обозначать меню
Судков развозчик в куртке грязной...
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бремению
Тревогой, слухом, грустью праздной?

Мы делим на двоих то борщ, то суп с лапшой
И с макаронами котлету.
Так радуйся же всей измученной душой
Врачебнодейственному лету!

Мы в доме у вдовы Степанова живем,
Муж утонул, в пруду купаясь,
И так же, как всему, что двигалось кругом,
Безвольно смерти улыбаясь.

Впервые Хлебников был собран им в года
Цензуры не настолько строгой...
Я помню, брюки он подтягивал всегда,
Неловкий и коротконогий.

Беззвучно плакал он, истерзанный вконец
Больным, неизлечимым сыном.
Профессор, черни раб, несчастнейший отец,
Он обладал бесстрашьем львиным.

Он Заболоцкого упорно вызволял
Из лагеря, и, молодея,
Поставить подписи он знатных заставлял,
И даже славного Корнея.

На кафедре своей отзаседав, жене
Кричал, покинув храм науки:
«Пришел я весь в дерьме! Скорее ванну мне!»
И нервно поправлял он брюки.

То было в дни, когда не в горсточках дворян,
Не в гущах гадов недобитых,—
В саду строительства открыли нам бурьян
В обрезанных космополитах.

А скольких до того, от утра допоздна,
На каждом новом перевале,
И жертв, и палачей сменялись имена,—
Все били и недобивали...

Заметили ли вы, что выглядит порой
Насельник вятский, вологодский
Германцем истинным? Казался немчурой
И аккуратный Заболоцкий.

Но чисто русское безумье было в нем
И бурь подавленных величье,
Обэриутский бред союзничал с огнем
И зажигал глаза мужичьи.

Он у Кавериных нашел покой и дом,
Но помнил лагерь Казахстана,
А я квартировал вблизи, и мы вдвоем
Садись в поезд постоянно,

И возвращались мы в вечернем феврале,
Сходясь на Киевском вокзале.
Вольготно водочкой с икоркой на столе
При корифее торговали!

С подначкой, с шуточкой, — у каждого портфель, —
Откушали — я сто, он — двести,
И в пригородный! Пусть шумит себе метель,
Мы будем через час на месте.

Но что с ним? Оборвал свой смех. Взгляд напряжен.
Смотрю туда же: грязь, окурки,
Две тетki на скамье, а третий — кто же он?
Очки. Треух. Тулупчик. Бурки.

«А в тамбуре — второй. Сейчас меня возьмут».
Застывший взгляд и дробный шепот.
О, долгий ужас тех мистических минут,
О, их бессмысленность и опыт!

Мы в Переделкине сошли. Сошел и тот.
А некто в форменной тужурке:
«Где будет Лукино?» — «Вон там». — И поворот,
И я оглядываюсь: бурки!

Оставили шоссе. Свернули в Лукино.
Дошли проулками до дачи.
Безлюдно и черно. Чуть светится окно.
Есть водка. Будет чай горячий.

Волнуются жена и дети. Впятером
Ждем час и два. Ну, слава Богу, —
Ошибка: не пришли! И он, дыша теплом,
В себя приходит понемногу

И улыбается: «Начальника признать
Легко, а бурки — признак первый».
А Катя: «Коленька, могу тебя понять,
В вагоне разыгрались нервы».

Я знаю, что собрат зверей, растений, птиц, —
Боялся он до дней конечных
Волков-опричников, волков-самоубийц,
Волчиных мастеров заплечных...

Владельцы прежние забылись. Тот убит,
Тот умер, те в грязи застыли.
«Патрокла нет, но жив презрительный Терсит!» —
В классическом воскликнем стиле.

Здесь в молодости я кой у кого бывал.
Здесь, прячась куколкою в кокон,
Пильняк, сей шваб и баб любитель, самохвал,
Смотрел на пруд из верхних окон:

«Царила в страховой компании семья.
Любимец тетки-лютеранки,
Поверьте рыжему вралю, что вырос я
В том самом доме на Лубянке».

Как в рыбьей чешуе — в японской шубе, фронт,
Актер — и вдруг художник зрячий...
Дружил, ценя его неряшливый талант,
С ним Пастернак, сосед по даче.

Сюда заявятся порою книжный крот
Или славистка из Канады,
Но здесь теперь певец угрозыска живет
И лает мопс из-за ограды.

Кто вспомнит, кроме них, — офени-чудака
И старой стройной иностранки, —
Как взяли, а потом убили Пильняка
В том самом доме на Лубянке.

Тогда-то Пастернак переменил жилье
И с вами повелось соседство,
Тогда-то вы ему доверили свое
Болезнью скошенное детство.

Такое же, как вы, но божество-дитя,
Он сам творил закономерность,
Доверьем радостным Ивановым платя
За их мужающую верность.

Там, где внизу река пугливая текла,
Полузадушена осокой,
На горке перед ним златились купола
Сияньем Индии далекой.

Когда из катакомб их вывел Константин,
Не знали храмов христиане.
Кто первым зодчим был, кто им воздвиг притин,
Найдя образчик в Хиндустане?

С тех пор и на Руси златятся купола,
Азийски, молодо круглятся,
И вьюга русская их чудно берегла
От нищей злобы святотатца.

Был в деда Пастернак, а тот, широкоплеч,
В Одессе промышлял извозом,
Но внука русская благословила речь
На службу соснам и березам.

И может быть, решив, что на Руси святой
Поэта нет вне православья,
За христианскою пошел он красотой,
Как бы на поиск равноправья?

Не сразу понял он, что кесарь наш — злодей,
Что смерть луга кругом косила.
Не сразу сделалась понятной для властей
Его смущающая сила.

Он вашего отца «берложным» называл —
Сибиряка с кипчакским глазом,
Кто в тайном тайное нашел, кто волновал
То странной выдумкой, то сказом.

Вас полюбил поэт в начале ваших дней,
И вы, забав не зная детских,
С ним шли среди корней, что были вам трудней
Корней хурритских или хеттских.

Давно ль стихи мальчика хвалил он — и не раз,—
Но трубно, путано и длинно,
И, чем-то удивлен, он вскидывал на вас
Глаза коня и бедуина.

Меж вашей улицей и кладбищем, где врос
Он в землю, нежную до боли,
Где нынче широко распространил колхоз
Свое картофельное поле,

Единоличник жил. Подумать: все — в числе,
И только он — единоличник.
Прилежный белорусс, он родич был земле,
Хоть праздновал Октябрь-Кастричник.

Хотел он власть признать, как сделал Пастернак,
Но жить, как Пастернак, отдельно,
И был, как Пастернак, в метельный загнан мрак
И яростью сожжен смертельной.

Единоличники дружили: наш чудной
Поэт и пахарь сивоусый.
Остались на земле стихи, но со стерней
Сровняли хату белоруса.

Я помню летний день, и Ольгу на краю
Крыльца — с ее клеймом изгойства,
И в доме я в ногах у мертвеца стою
Средь горя, музыки, геройства.

А в чем геройство? В том, что мы пришли сюда,
Где вдруг осиротели птицы?
Где соглядатаи родились до стыда?
Где бородатый, смуглолицый,

Под зеленью стоял, задумавшись, босой
Философ Голосовкер Яков,
Для снимков привлекал славянской простотой
Американцев и поляков...

Да, не явились мы, чтоб исключить его,
И руки не взвились, как плети,
И дьявол не собрал сообщества всего,
Всех, водоплавающих в Лете.

Мы — Кукольников клан, Неведомских слои,
Бумажные кариатиды,
Хвостовых, Раичей, Маркевичей рои
И Баранцевичей подвиды, —

Как смеем хвастаться, что светел был порыв?
Нам надо, скопищу виновных,
У Господа просить, чтоб, нас простив, укрыв,
Хоть отделил от злобесовных!

Прости меня, прости, прости, я виноват;
Я в маскарад втесался пестрый,
А как я был богат! Мне Гроссман был как брат,
Его душа с моею — сестры.

Предмартовская нас тесней слила беда;
Делили крышу и печали;
Так почему же я безмолвствовал, когда
Его роман арестовали?

Всегда вини себя, а время не порочь.
Ты будь с собой, а не со всеми.
Ты лучших ждешь времен, но истина есть дочь,
В твое родившаяся время.

Тебя пугает власть? Не бойся, ты силен,
Пока для жизни предстоящей
Есть Промысл о тебе и есть в тебе Закон,
Возникший в купине горящей.

Как мил мне Божий мир! В набухших облаках
Прогалины лазури тонкой,
И пятна бузины — как кровь на локотках
В кустах бегущего внучонка,

И дождь, когда влажны крапива у оград
И пижмы желтое суконце,
И кажется, что лес — не лес, а вертоград,
И, как вино, вкушаешь солнце,

И та лощина, где меж вязов-богачей
Осины жмутся, как неровни,
И, может, камушки, — осколки кирпичей
Старинной сгубленной часовни.

Как много сгублено! Я видел сей содом:
Здесь, в страхе ночи деревенской,
Лев Каменев дрожал, с ума сходил Артем
И жег Париж Бруно Ясенский.

Здесь Бабель мне свою «Марию» подарил.
Зимой предсмертной наслаждаясь,
«От уз грамматики, — серьезно говорил, —
В Одессе я освобождаюсь,

К киоску подхожу: «Прошу стакан вода...»
Где эти речи озорные?
Где той зимы снега? Где той зимы среда?
Где Бабель и его Мария?

Где волк, который мог всплакнуть, задрав овцу,
И к вдохновенью приобщиться,
Над пропастью хитря, шатаясь, шел к концу,
Чтоб кончить как самоубийца?

Иные господа теперь гуляют здесь.
При встрече с нами отвернуться
Что принуждает их? Вражда? Бессилье? Спесь?
Боязнь к крамоле прикоснуться?

Рядятся призраки: вот барин — сановит,
Хотя филером был когда-то;
Вот сельский лавочник; а вот полезный жид
С походкой члена юденрата.

Жестоки ли они? Хитры? Коварны? Вздор,
Не снисходи сердиться, Инна!
Жесток бывает зверь, и человек хитер,
И в хищности трава повинна.

Но где ты видела, чтоб хищным был предмет?
Чтобы хитрило неживое?
Их нет: для жизни нет, но и для смерти нет,
То морок, марево дурное.

Вон тот, с бородкою, растаял, как фантом.
Спустился вечер синеватый.
Давай-ка к Лидии Корнеевне зайдем.
К ней можно: час пошел девятый.

Один из тех, кто был никем, а стал никто,
Сказал с кавказским простодушьем:
«Мешает людям жить осиное гнездо.
Мы дом Чуковского разрушим».

И в самом деле: дом, на воздухе держась,
И сыростью изъеден, рухнет.
Порвется ниточка — с прекрасным прошлым
связь,—
И драгоценный луч потухнет.

Но по ночам не спит владелица луча,
И свет бесстрашно укрепляя,
Она работает, не слушаясь врача,
Упрямая, полуслепая.

И память движется с воинственным пером
По всем путям и перепутьям...
Мы вечером сидим на лавочке втроем,
Беседуем, грустим и шутим.

Опоры кое-как подправить удалось
Гуманитариям-студентам,
И дыры залепить; до утра улеглось
Корыто старое с цементом.

Мы удивляемся тому, что день погас,
Но зорко смотрит лунным кругом,
И вспоминаем ту, кто связывает нас
С бессмертьем, с правотой, друг с другом.

1981—1982

СОДЕРЖАНИЕ

Ст. Рассадин. Человек, называющий все по имени ... 3

СТИХОТВОРЕНИЯ

Апрель	19
Открытка	21
«Есть прелесть горькая в моей судьбе...»	21
Счастье	22
«В неверии, неволе, нелюбви...»	23
Чабан	23
Перед маем	24
В экипаже	24
Революция	25
В тридцать лет	26
На свежем корчевье	27
Казачка	27
Странники	28
Беседа	29
Первое забвеньё	30
Метаморфозы	30
Имена	32
Руины	34
Вечер	35
Воля	35
Штабная симфония	36
Черный рынок	38
Городок	39
Соловьи	41
Квартира	41
Роса	43
Счастливец	43
У ручья	44
Договор	44
Морю	45
Тот же признак	45
Музыка земли	46

На Тянь-Шане	46
Знакомые места	47
Вечер на Чегме	48
Сапожник	49
Раннее лето	51
Степная притча	52
Кавказ подо мною	54
Тополя в Гунибе	55
Утро	56
Сосны	57
Переселенец	58
У шлагбаума	59
Ночь в Бухаре	60
Снова в Одессе	61
У развалин ливонского замка	62
Воробышек	64
В ночном Ростове	65
Молодая мать	66
Подражание Корану	67
Пепел	68
Богородица	69
Грек	70
Сад на краю пустыни	72
У собак	73
Ваш спутник	74
Похороны	75
Улица печали	76
Заложник	76
Мой день	77
То да сё	78
У гроба	79
Соловей поет	79
Одна моя знакомая	80
Очевидец	81
Мертвым	81
Акулина Ивановна	81
Добро	82
По весенним полям	83
Комбинат глухонемых	84
На реактивном самолете	84
Рисунок в начале весны	85
Рисунок в вагоне	85
Рисунок на Греческой площади	86
Колющее кружево	87
Город-спутник	88
Человек в толпе	89
Частушка	90
Князь	90
Первый мороз	91
Дорога	92

Тайга	92
Суязов	94
Лезгинка	95
Старость	96
Дао	96
Тени	97
Молдавский язык	98
Забутые поэты	99
Лунный свет	99
Геолог	100
Обезьянник	101
Рождество	102
Молчащие	102
Вильнюсское подворье	103
Зимнее утро	103
Шелковица	104
Телефонная будка	105
У моря	105
Арабат	106
Ереванская роза	107
Чешский лес	108
Пустота	109
Притча об осле	109
Вожатый каравана	111
Две ели	111
Происшествие	112
У магазина	113
«Еще дыхание суеты...»	113
Любовь	114
Ночи в лесу	115
В кафе	115
Союз	116
Моисей	117
Памятное место	117
Отстроенный город	117
Зола	118
Живой	118
Подражание Мильтону	119
Кочевники	120
Урочище	120
Свирель пастуха	121
Размышления в Сплите	122
Размышления в Сараеве	122
После посещения дома Рембрандта	
1. Пригородные деревья	124
2. Улица у канала	124
3. Деревья осенью	125
4. Ночной дозор	125
Степная трава	126
Телега	127

Гончар	128
Кипарис	128
Птицы поют	129
«Как ты много курила!..»	130
Узнавание	130
Закат в апреле	131
На чужой квартире	132
Страх	132
Южные церкви	133
Суд	134
В начале поры	135
Одесский переулок	135
Одесская синагога	136
Возвращение из Египта	137
«Листья бука, побитые градом...»	137
Монастырские стены	138
Воскресное утро в лесу	138
Подобие	139
«Я покину лес кудрявый...»	139
Лира	140
Подражание Кабиру	141
Сезанн	141
Белый пепел	142
Утренние покупки	142
Портрет	144
Обман	144
После непогоды	145
Память	145
Спуск в гавань	146
Годовщина армянского горя	147
По дороге	148
Подъем	148
Армянский храм	149
«Еще и плотью не оделись души...»	149
Кочевой огонь	150
Комиссар	151
Хайм	151
Завоеватель	152
Отпуск во время войны	153
Посредине запретки	154
Островок	155
Озеро	155
Вечерет	156
В голубом сосуде	156
«В этом городе южном я маленький школьник...»	156
Русская поэзия	157
«Когда болезненной душой устану...»	158
Время	158
«Господин Весенний Ветер...»	159
Из тетради	159

Крик чаек	160
«Когда в слова я буквы складывал...»	160
Новая жизнь	161
«Заснуть и не проснуться...»	161
Конь	162
«Доболеть, одолеть странный страх...»	162
Мгновенье	163
На току	163
Город хвойных	164
Ночью	165
«Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?...»	165
Путь к храму	166
Ганеша	166
В храме богини Кали	168
Улица в Калькутте	168
«Надеваю плащ болонью...»	169
В пятницу вечером	169
Пушкинские места	170
Голос	171
«Предвидеть не хочу...»	171
«Я сижу на ступеньках...»	171
В пустыне	172
Морская пена	173
В Брюховичах	173
У врат	174
Короткие рассказы	174
«Над москательной клена...»	174
Порт	175
Он, я и Ты	175
«Огонь связующий и жаркий...»	176
«Тот, кто ветру назначил вес...»	176
Мимо рынка	176
Размышления Авраама у жертвенника	177
Последняя ночь Авраама	180
Военная песня	182
Портреты	183
«Что ты узнал? Что поведал? Вотще...»	184
«Есть отрада и в негромкой доле...»	184
«Я принес вам свои раздумия...»	184
Осень у моря	185
Между морем и степью	185
Два восьмистишия	186
Деревенька	186
Камень	187
«Я знаю вместилище мрака...»	187
Начало лета	188
Январь, ночь	188
Малиновка	189
Зимний закат	189
В царстве флоры	190

В калмыцкой степи	
1. Днем	191
2. Ночью	191
Птица	192
Отражение	192
«Присягаю песенке пастушьей...»	193
Освещенные окна	193
Правда	194
«Ужели красок нужен табор...»	194
Памятник старины	195
Возле Минска	196
Лесной уголок	196
«Коровье дремлет стадо...»	197
Двуединство	198
«Есть ли жизнь в гончарной мастерской...»	198
В нищей хате	199
«Вот и новый день глаза смыкает...»	199
Пти-Крю	200
24 июня 1985 года	200
«Над речкой взбухли ватные химеры...»	201
Леший	201
«Воды вдоль тихих берегов...»	202
В часе ходьбы от Веймара	202
«Я никогда не видел правду жизни...»	203
«Я взлечу в небеса из болота...»	203
Выключили свет	204
«Слышу, как везут песок с карьера...»	204
В поле за лесом	205
На Истре	206
«Я забыть не хочу, я забыть не могу...»	206
Собор	207
Примечание к формуле Эйнштейна	207
«Я иду среди лесного гама...»	208
«Потомства двигая зачатки...»	209
«Чистое дыханье облаков...»	209
Родник	210
Скорбь	211
«Как видно, иду на поправку...»	211
«Когда мы заново родились...»	212
Разговор	212
По Эдгару По	213
Вор	213
Новый Иерусалим	214
«Когда мне в городе родном...»	216
Нищие в двадцать втором	217
Буря	217
Туман	218
Ирисы	219
«Шумит река, в ее одноголосье...»	219
Стены Нового Иерусалима	220

В ковчеге	220
«В слишком кратких сообщениях ТАССа...»	221
«Устал я от речей...»	221
Воспоминание	221
Кавказ	222
Майская ночь в лесу	222
Историк	223
Заметки о прозе	223
«Бык сотворен для пашни...»	224
Неопалимовская быль	224
Ангел третий	226
«Жил в Москве, в полуподвале...»	226
Ахматовские чтения в Бостоне	227
Бегство из Одессы	227
1919	228
В Самарканде	228
Дуб	229
Пожелтевшие блокноты	229

ПОЭМЫ

В о ж д ь и п л е м я

Туман в горах	233
Нестор и Сария	243
Техник-интендант	258
Поездка в Ясную Поляну	285
Беседа на вершине счастья	290
Тбилиси в апреле 1956 года	301
Соликамск в августе 1962 года	308

Ф а н т а с т и к а

Фантастика	313
Литературное воспоминание	317
Кладбище	328
Вячеславу. Жизнь переделкинская	335

Липкин С. И.

Л61 Письмена: Стихотворения; Поэмы/Вступ. ст.
Ст. Рассадина.— М.: Худож. лит., 1991.—351 с.
ISBN 5-280-01686-1

В книгу талантливого поэта и переводчика Семена Липкина «Письмена» вошли стихотворения и поэмы разных лет. Оригинальные произведения поэта, до недавнего времени неизвестные широкому читателю, знакомы истинным ценителям его тонкой, интеллектуальной, высокодуховной поэзии.

Л $\frac{4702010202-033}{028(01)-91}$ 83-91

ББК 84Р7

Семен Израилевич
Липкин

ПИСЬМЕНА

Стихотворения

Поэмы

Редактор *А. Краковская*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректор *В. Брагина*

ИБ № 6354

Сдано в набор 07.06.90. Подписано в печать 24.09.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. № 2. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48+1 вкл.=18,53. Усл. кр.-отг. 1858. Уч.-изд. л. 16,83+1 вкл.=16,87. Тираж 25 000 экз. Изд. № III-3817. Заказ № 3395. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валуевая, 28

